

Летом 2010 года в Сергиевом Посаде тиражом всего лишь в 100 экземпляров вышла в двух томах книга Владимира Десятникова с злободневным сегодня названием “Дневник русского”.

Автор книги, родившийся в 1930 году, в 1943-м после гибели отца на фронте был зачислен в Суворовское училище, закончил его, в 20 лет стал начальником погранзаставы, дослужился до звания капитана, вышел в отставку, поступил на исторический факультет МГУ и окончил его. Постепенно и естественно стал известным искусствоведом, другом многих знаменитых художников той эпохи, знатоком русского старинного зодчества и накопил к своему 80-летию, с которым мы его поздравляем, страницы этого незаурядного дневника, написанного талантливейшей и честной рукой русского интеллигента-патриота...

Представляем читателю избранные страницы из этой незаурядной книги.

Ст. Куняев

ВЛАДИМИР ДЕСЯТНИКОВ

ДНЕВНИК РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

2 февраля 1963 г.

Маленькая узенькая комната перегорожена шкафом. За ситцевой занавеской – кровать. На пяточке в несколько квадратных метров – обеденный стол, колченогие стулья, на стенах полки с книгами. Таково пристанище гениального ученого, основоположника современной гелиобиологии и ряда других наук А. Л. Чижевского (р. 1897). В молодые годы он дружил и сотрудничал с К. Э. Циолковским, который в письмах и записках ласково называл его Сашей. В 1942 году Сашу оприходовали по ст. 58 УК РСФСР за контрреволюционную и враждебную деятельность. Самые плодотворные годы своей жизни А. Л. Чижевский провел в тюрьмах, лагерях и на пересылках. Однако и в заключении Александр Леонидович, по его полным горестного сарказма словам, успешно “притворялся ученым”. Во время войны, работая на пороховых заводах, он спас тысячи людей, изобретя оригинальную очистку воздуха в сильно загазованных цехах, где смертность была одной из самых высоких среди оборонных предприятий страны.

В 1958 году Александр Леонидович по реабилитации возвратился в Москву и все время проживал в скромных коммуналках, у друзей, привечавших большого ученого у себя. Академия наук не спешит с принятием А. Л. Чижевского в свои члены. Многие их тех, кто давно уже у руля Академии, в свое время не только не защитили Александра Леонидовича, а, напротив, выступили с разоблачением “лжеученого”. Особенно в этом усердствовал Абрам Иоффе (1880–1960), который, по словам Чижевского, обокрал его, присвоив себе открытия опального ученого, и все сделал, чтобы убрать с дороги соперника в науке.

Александр Леонидович подарил мне на память свою лагерную фотографию, где он, сидя за микроскопом, “притворяется ученым”. Придет время, и эта фотография займет свое место в изоантологии советских лагерей.

25 февраля 1963 г.

“Новый мир” Твардовского нынче самый ходовой журнал. В библиотеке очередь на него. Читают “Один день Ивана Денисовича” Солженицына и его же “Матренин двор” и “Случай на станции Кречетовка”. Везде только и разговоров что об “Иване Денисовиче” и вышедшем из “подполья” “герое” нашего времени – ээке. Между тем, по моему разумению, не на художественно созданного Ивана Денисовича (вариант Платона Каратаева), а на реально существующих Чижевского и иже с ним – все упование наше. Они вне литературных прототипов, выше суетности авторов, потому как изначально ближе к Богу, к блаженствам Нагорной проповеди.

1 октября 1965 г.

– Человечество искусственно разделено на расы, нации. Конечный итог в том, чтобы стереть эти преграды, – вот смысловой акцент нашей встречи с Эрнстом Неизвестным. Я слушал его в этот раз и больше молчал. Он говорил, развивая свою мысль в направлении, для меня не новом. – Искусство, к сожалению, тоже разделено национальными рамками. Оно должно быть общечеловеческим.

Рассматривая кипу фотографий, сделанных мною в музеях Прикамья, Неизвестный толково говорил о “пермских богах”, которых он знает с детства. В давние годы, еще мальчишкой, он, оказываясь, реставрировал (!) эти произведения искусства с каким-то скульптором-родственником. Именно в древнерусской скульптуре, как он считает, – истоки его пластики. Однако очень сложно выглядит система его утверждений, что в своей скульптуре он творчески развивает принципы деформации тела, подмеченные в древнерусском медном литье, в иконе, в народной резьбе по дереву. Весь вечер хотел убедить нас и себя, что он традиционный русский скульптор. Я не вынес такого впечатления из посещения его мастерской. Художник он нерусский, хотя и рядится в сермягу. Все работы его вненациональны: Прометей, Орфей, Пенелопа и целая серия аномальных образов на тему ужасов. Вот и получается, что человек вырос в России (на Урале, в Свердловске), жил среди русских (родители – выкрещенные евреи, потомки поселенцев-кантонистов), дышал воздухом Руси (в детстве, наверное, слушал русские сказки), но так и не пропитался русским духом. Нет у него ни Лады, ни Дажбога, как у Коненкова, нет у него персонажей народных сказок, песен, былин. Ведь их тоже можно было создать приемами именно его индивидуального формотворчества. Дело сложное. Мне кажется, что Эрнст Неизвестный – человек трагической судьбы. В основе его творчества лежит религиозный дуализм. Искусство его мрачно до патологии, будто автор обуреваем нескончаемыми внутренними раздорами. Он мечется, ищет духовного пристанища, гармонии, но они ускользают от него, как наваждение.

Время покажет, к какому берегу прибьется Эрнст Неизвестный. Однако уже и сейчас ясно – в двух креслах не усидишь.

Неизвестный попросил несколько фотографий понравившихся ему деревянных скульптур и предложил мне на выбор один из рисунков к “Божественной комедии” Данте, которую он иллюстрирует по договору с издательством SKIRA. Фотографии я подарил, но от рисунка, поблагодарив за широкий жест, отказался.

2 октября 1965 г.

Ездили с Галей в Хотьково, познакомились со старой золотошвейей матушкой Феней, 1888 г. р. (Московская обл., Загорский р-н, г. Хотьково, 1-я Рабочая ул., д. 15, Федосья Федоровна Ревина). Вся жизнь ее прошла в трудах. Она крепко полюбила золотошвейное дело, работала истово, играючи. Не имея образования, но обладая природным вкусом, развитым до уровня профессионального художника, матушка Феня чувствует красоту, безошибочно отличает хорошее от плохого.

Жизнь матушки Фени типична для многих и многих монастырских подвижников. Двенадцати лет от роду ее отдали из бедной семьи в Хотьковский женский монастырь. Девочка через две недели убежала домой, а там – скучно, голодно. За ней пришли взрослые инокини, и она вернулась с ними в обитель. Но еще долго потом бегала на чердак хозяйственного корпуса, чтобы оттуда в окошечко посмотреть на свой дом, на сверстников, играющих в салочки за ка-

менной оградой: “Так бы и улетела к ним птицей”. Старшая сестра, бывшая к тому времени уже монашкой, жалела ее, но строжилась и, бывало, стаскивала за волосы вниз по крутой лестнице. Постепенно девочка смирилась, привыкла к новым подругам, прикипела сердцем к работе. Так прошла молодость, а за нею незаметно и вся жизнь: “Словно вдели золотую нитку в иголочку и протернули разом через всю плащаницу”.

Самым большим потрясением (и теперь уж, видно, до скончания века) матушка Феня называет разорение Хотьковского монастыря в советское время. Пришли комиссары, сквернословя и куря в храме, надругались, выбросили на мусорную свалку останки родителей преподобного Сергия Радонежского схимонахов Кирилла и Марии. Разве такое забудется!

После ареста, без суда и следствия, всех послушниц и монахинь в битком набитой теплушке отправили на поселение в Узбекистан. Матушка Феня и там работала иглой. Золотом вышивали тибетейки, стегали халаты на вате, одеяла на верблюжьем меху. Когда оставшимся в живых объявили об амнистии, местные узбекские власти долго еще не отпускали монашек домой. Тянули с выдачей документов, чинили разные препоны — никак не хотели лишаться дармовой, безответной, и, самое главное, высокоталантливой рабочей силы. На золотых тибетейках не один из чиновников и карьеру себе сделал, и состояние нажил. А монашки — что ж! — как увезли их в чем Бог дал, так и вернулись они в Хотьково нищими.

Добрая, милая матушка Феня ни на кого зла не таит. По-прежнему с утра и до поздней ночи в работе и молитве. Живет в тишости, с Богом в душе, уповая на заступничество Пречистой и молитву преподобного Сергия.

— Матушка, как же вы спите на этом диванчике? — простодушно спросил я за чаем. — Ведь диванчик-то шириной всего в две моих ладони. На таком не разоспишься.

— Так и надо. Как повернешься, так и проснешься и, — слава Богу, — снова твори молитву. Там отоспимся.

1 мая 1968 г.

Мы с Галей подгадали так, что у нас получилось несколько свободных дней, и двинулись в Калугу, а оттуда — рано-рано, минуя древний Перемышль, — в Шамординскую и Оптину пустыни. Погода нам благоприятствует — ласковое вешнее солнышко то спрячется за облака, то снова выйдет. На душе тепло и радостно. Сойдя с попутной машины у шамординского поворота, пошли пешком. Идти недалеко. За разговором время идет быстро, тем более что вокруг благодать — красивые, слегка всхолмленные поля, всюю жаворонки поют и кроме нас — ни души.

Вдали показался причудливый силуэт собора Казанской Амвросиевской Шамординской женской пустыни. Мы прибавили шагу. Подошли поближе, а из алтаря собора на нас выезжает зерноуборочный комбайн. Оказывается, хозяин здесь — сельхозучилище. Сейчас в училище какие-то нелады, и все в запущенном состоянии. Собор обезглавлен, крыша во многих местах прохудилась, в окнах редко где сохранились стекла. Не в лучшем состоянии трапезная, сестринские корпуса, богадельня, детский приют... Словом, всем сестрам по серьгам.

Видя, что я старательно фотографирую все, что осталось от пустыни, к нам подошла женщина. Познакомились. Екатерина Ермолаевна Гончарова долгие годы проработала здесь учительницей. Мы попросили ее показать нам пустынь.

— Когда-то была пустынь, теперь пустыня, — начала свой рассказ Екатерина Ермолаевна и повела нас к келье старца Амвросия — основателя Шамординской обители.

— Сама-то келья была деревянная, — продолжала она, — а после смерти старца в 1891 году над ней возвели кирпичный футляр для сбережения кельи.

Сейчас “футляр” не пустует, — в нем разобранный учебный трактор. А келью старца Амвросия раскатали по бревнышку и продали в соседнее село.

Вместе с Екатериной Ермолаевной мы прошли каких-то сто метров и оказались у забора, за которым стояла собачья будка.

— На этом месте раньше стоял дом, в котором жила при пустыни сестра Льва Толстого Мария Николаевна. Дом тоже раскатали по бревнышку и перевезли в Козельск. Я вам дам адрес, будет время — зайдите посмотрите. У меня сохранилась фотография, на которой Мария Николаевна запечатлена вместе

с братом на крыльце этого дома во время одного из приездов Льва Толстого в Шамординскую пустынь.

Нам повезло. Лучшего экскурсовода и желать нельзя. Неспешно мы обошли всю территорию пустыни, и Екатерина Ермолаевна обо всем поведала нам без утайки.

– Все говорят, что богатые не милосердны. А знаете, кто деньги давал на строительство? – спросила Екатерина Ермолаевна и сама же ответила: – Торговец Сергей Васильевич Перлов, его магазин в китайском стиле и по сей день известен в Москве, на улице Кирова (Мясницкой). Мало того что Перлов построил монастырь, он и его жена Анна Яковлевна до конца дней своих одевали и обували тысячу монастырских сестер, убогих в богадельне и сирых детей, живших в приюте.

Мы остановились у алтарной части Казанского собора – самого грандиозного церковного сооружения на рубеже двух столетий, вмещавшего шесть тысяч молящихся. Внутри собора был огромный многоярусный иконостас письма самых известных мастеров. Все это было и, как говорится, быльем поросло. Гончарова показала то место, где раньше была усыпальница Перловых. От нее не осталось и следа, а что случилось с прахом шамординского благодетеля, об этом Екатерина Ермолаевна умолчала, но мы и сами поняли – развеян по ветру.

А вот дом, который для себя построили Перловы, чтобы жить в нем на покое в старости, уцелел. Это просторное кирпичное строение разделено на коммуналки. Как оказалось, в нем живет и Екатерина Ермолаевна. Ознакомление с Шамординской пустыней она закончила тем, что пригласила нас к себе в гости. Мы пили чай, разговорам не было конца. Видя, что мы вовсе не случайно оказались в здешних местах, Екатерина Ермолаевна в память о нашей встрече подарила нам старинный альбом с видами Казанской Амвросиевской Шамординской женской пустыни, а ее соседка Екатерина Михайловна Сивагова – панорамную открытку пустыни, где среди прочих строений есть домик М. Н. Толстой. Показав на открытке этот домик, Гончарова прибавила:

– В Ясной Поляне в комнате Льва Николаевича на втором этаже на его кровати лежит небольшая, темного цвета подушка с вышитой по краю надпись: “От одной из ш-ских дур”. Не правда ли, странная надпись? Однако она имеет отношение к Шамордину.

Оказывается, Лев Николаевич в одну из встреч с сестрой полуиронично-полусерьезно спросил у нее, дескать, сколько вас, таких дур, в монастыре? Сестра припомнила братцу его не очень-то церемонный вопрос. С любовью вышив ему на память подушечку-думку, она не преминула напомнить – от одной из шамординских дур.

– Когда в Козельск отсюда пойдете, – напутствовала нас Екатерина Ермолаевна, – то в Нижних Прысках в церкви спросите Евдокию Ивановну Огибалову, бывшую насельницу Шамординской пустыни. Она не так давно вернулась из Средней Азии, куда в 20-х годах была выслана. Побеседуйте, матушка Евдокия многое может вам рассказать.

В Нижних Прысках когда-то было имение Н. С. Кашкина, у которого гостил в 1878 году Ф. М. Достоевский. Они вместе в 1849 году были арестованы по делу петрашевцев. После гражданской казни над ними осужденные дали слово, что если будут живы и вернуться с каторги, то непременно встретятся в Нижних Прысках. Встретились они при печальных обстоятельствах. У Федора Михайловича умер сын Алеша, и ему необходимо было собраться с силами после тяжелого удара.

Усадьба Кашкиных дожила до 1930-х годов, но все-таки ее не сберегли. Потребовался кирпич для строительства колхозных скотных дворов, и он нашлся... По рассказам местных жителей, главный дом усадьбы был в три этажа. Он выходил в искусно разбитый парк с беседками, и из окон дома хорошо была видна Оптина пустынь. Ныне от парка в Нижних Прысках осталось лишь несколько могучих деревьев, под сенью которых гулял и обдумывал свой роман “Братья Карамазовы” Ф. М. Достоевский.

Усадебная церковь Преображения Господня (1787), к счастью, сохранилась. У южной стены ее, рядом с церковной сторожкой, – могилы Кашкиных. Галя переписывала надгробные эпитафии, а я фотографировал. За этим занятием нас и застала матушка Евдокия, вышедшая из церковной сторожки. Мы ее по описаниям Е. Е. Гончаровой сразу узнали. Разговорились. Матушка пригласила нас в свою сторожку. Как мир тесен! Родилась она в том самом

1878 году, когда Ф. М. Достоевский приезжал в Нижние Прыски. Родители ее умерли, и она была отдана на воспитание в Шамординский монастырь. Послушание проходила на монастырской пекарне. Здесь ее и заприметила М. Н. Толстая. Хорошими словами вспоминала матушка Евдокия свою старшую духовную сестру Марию Николаевну. Вспоминая о былом (Толстая одарила ее красивыми платочками), старая женщина, прошедшая суровой жизненной стезей, светилась изнутри добротой и лаской.

— Мария Николаевна любила рулет с маком, — рассказывала Евдокия Ивановна. — Я хорошо пекла, и она мне часто его заказывала. И в тот последний приезд брата Мария Николаевна потчевала Льва Николаевича рулетом с маком.

Скорее всего, так оно и было. Октябрь 1910 года был холодным и дождливым, так что горячий чай с рулетом как раз был кстати.

Е. И. Огибалова после закрытия Шамординской пустыни была выслана вместе с другими монашенками в Узбекистан. Числились они там “расконвоированными” (была такая градация в мерах пресечения), но жили все в одном бараке, чтобы легче было контролировать перевоспитание от “тьмы к свету”. Работали монахини на фабрике, изготавливали стеганые халаты и одеяла да еще дома подрабатывали. Мастерство и добросовестность были таковы, что начальство не хотело отпускать их вплоть до конца 1950-х годов. Получив наконец паспорт, а с ним и свободу, Евдокия Ивановна, естественно, приехала туда, куда душой тянулась все эти годы. Ее радушно, как родную, принял настоятель Преображенской церкви в Нижних Прысках о. Леонтий и его жена Тамара Ивановна.

Я попросил Евдокию Ивановну вспомнить самое яркое событие, пережитое ею в жизни.

— Когда старца Амвросия несли из Шамордина в Оптину, — сказала она, — была гроза, дождь стеной стоял, но ни одна свеча не погасла. Хотите верьте, хотите нет.

Нет, отчего же, я верю и знаю, что жития святых пишутся в народе и передаются изустно задолго до официального прославления подвижников веры.

Представляю, с каким чувством спустя треть века после высылки пришла Евдокия Ивановна в Шамординскую пустынь. И как потом шла домой, все оглядывалась и мысленно крестилась на изуродованный, обезглавленный Казанский собор.

3 мая 1968 г.

Два дня провели в Оптиной пустыни и Козельске, ведомые нашим новым другом — бывшим фронтовым военным журналистом, гвардии майором в отставке Василием Николаевичем Сорокиным — инициатором создания местного литературного музея.

“...В четырех верстах от Козельска на правом берегу Жиздры под сенью вековых дубовых лесов находится известная всем богомольцам России Оптино-Введенская пустынь...” Эту выписку из книги “Россия” (СПб., 1899. Т. I. С. 322), изданной под руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского, я сделал, еще будучи студентом. И вот только нынче сподобился побывать в Оптиной пустыни. До меня здесь прошли тысячи тысяч паломников, и среди них — В. А. Жуковский, И. В. и П. В. Киреевские, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский...

Готовясь к поездке, я переснял из старой книги литографию гоголевских времен с видом Оптиной пустыни. Теперь мог в натуре сравнить, что было и что случилось. На литографии пустынь была ограждена каменными стенами и башнями. Они, несмотря ни на что, в основном сохранились, но не по всему периметру. Хуже с доминантами: величественная трехъярусная колокольня взорвана, больничная Владимирская церковь разобрана, а все остальные храмы обезглавлены. Войдя через пролом в стене ограды, обнаружили на территории пустыни полигон для тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Как и в Шамордине, хозяин здесь — СПТУ, готовящее механизаторов широкого профиля. И действительно, профиль машин довольно разнообразный, и все вокруг изрыто, изъезжено и, как водится, залито соляжкой. Не лучше обстоит дело и в скиту, находящемся, как и в “Братях Карамазовых” Ф. М. Достоевского, шагах в “четыреестах от монастыря”.

Н. В. Гоголь в одном из своих писем вспоминает Оптину: “Какая тишина, какая простота. Я... всегда заезжаю в эту пустынь и отдыхаю душой”. Однако

нам отдохнуть душой по приезду в Оптину не удалось. В скиту, куда на встречу с духовным отцом братьев Киреевских старцем Макарием не раз приходил Н. В. Гоголь, мы нашли мерзость запустения. А. Н. Апухтин писал: “Такой массы и таких чудных цветов, как в Оптинском скиту, я уж потом всю жизнь не знал”. Трудно представить, что скит когда-то отличали образцовый порядок, тишина, цветы. Ограда скита разнесена вдребезги. Уцелели две башенки и надвратная колокольня. В хибарках старцев Макария и Амвросия живут семь рабочих и преподавателей СПТУ. Под жильем заняты и все остальные кельи. К ним пристроили кто свиарник, кто курятник, кто овчарню...

Наше внимание в скиту привлекла необыкновенной красоты деревянная церковь Иоанна Предтечи (1822) с двумя классическими портиками, украшенными колоннами. Я достал фотоаппараты с узкой и широкой пленками и стал фотографировать церковь, бывшие кельи, скитский пруд с гогочущими гусями, стараясь представить, как здесь было во времена Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. За этим занятием меня и застал Сорокин. Он делал обмеры небольшого домика в углу скита и, когда закончил работу, подошел ко мне. Мы познакомились. Василий Николаевич имеет редкостную способность увлекать своей идеей людей. Он рассказал мне, что давно мечтает создать литературный музей, но не на бумаге, а реальный, куда можно было бы прийти и увидеть портреты “оптинцев”, картины, книги, задуманные здесь, иллюстрации к ним, вещи писателей. Не мешкая, Василий Николаевич с жаром принял “верстать” меня в свои союзники. Дескать, надо создать такую “температуру” общественного мнения, которая смогла бы “расплавить” чугунных тугодумов и заставить их принять решение переселить литературный отдел из тесноты Козельского краеведческого музея в Оптину, в домик, который он присмотрел в скиту.

— “Зачем живет такой человек!” Помните знаменитую сцену в хибарке из “Братьев Карамазовых”? — спросил Василий Николаевич и продолжал: — Вот именно здесь все и происходило. В той вон хибарке, — указал Сорокин, — старец поклонился в ноги Мите Карамазову.

— А нельзя ли попросить нынешних хозяев, чтобы они разрешили нам посмотреть их “покой”?

— Пойдемте, — решительно сказал Сорокин. — Там живут хорошие люди. Я к ним пришел как-то, поговорил и попросил, чтобы интерьер хибарки не переделывали. Ведь это наша историческая реликвия! Здесь старец Амвросий принимал Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.

Меж тем мы вошли в ограду хибарки старца Амвросия. Василий Николаевич попросил нас подождать, а сам вошел внутрь. Минуты через две на крыльцо вышел хозяин — Сергей Константинович Абрамов и попросил зайти к нему в гости.

— Вот здесь был вход в спальню старца, — показал Сорокин. — А в этой комнате, где мы стоим, принимал старец семейку Карамазовых.

— А вы не смогли бы сделать снимки интерьера кельи Амвросия? — обратился Сорокин ко мне и пояснил: — Мне через пару недель придется выступать в Москве в Доме ученых, и потребуется иллюстративный материал.

Остаток дня мы провели за съемкой. Отсняли скит, раковую аллею, сам монастырь и остатки некрополя. Когда-то он насчитывал сотни богатых захоронений. Миусов в “Братьях Карамазовых” не ошибался, что могилки в Оптиной “дорогоныко” обошлись хоронившим. Можно быть уверенным, никто из тех, кто покупал здесь место для последнего упокоения, не мог даже в горячечном бреду предположить, что их прах будет осквернен, а могильные камни проданы в Калугу и Москву еще при жизни внуков — ни сват Пушкина Николай Иванович Гартунг, ни сестра адмирала Нахимова Мария Кавелина... Это могли увидеть лишь оптинские старцы, но они были великими молчаливниками.

— А где захоронен старец Амвросий? — спросил я. — Покажите его могилу.

— Какая она была, могу показать, — и Сорокин достал старинную открытку.

— А в натуре?

— Могилы всех старцев сровнены с землей, — и Василий Николаевич повел нас к Введенскому храму. Отмерив от юго-восточной апсиды несколько шагов, Сорокин снял кепку и сказал: — Здесь лежит старец Амвросий, рядом Макарий, а вот там, — и он указал рукой, — братья Иван и Петр Киреевские...

В. Н. Сорокин в официальных случаях рекомендует себя не иначе как “козельский краевед”. На самом деле он и литературовед, и фольклорист,

и искусствовед, а главное, подвижник — человек, горящий “в одно пламя”. По его замыслу, Козельск, Оптиная пустынь и Шамордино должны войти в золотое кольцо русских литературных святынь наряду с Ясной Поляной Льва Толстого, Мещерским В. А. Жуковского и Долбиным братьев И. В. и П. В. Киреевских. Но как достичь этой цели? Нужны союзники — все мы, вместе взятые.

28 ноября 1969 г.

А. И. Солженицына с треском вышибли из Союза писателей — только что не арестовали (еще успеется!). В связи с этим не могу не оценить умение держать нос по ветру В. И. Кочемасова, своевременно прикрывшего наш сборник “Памятники Отечества”. Только такие, как он, и могут быть подручными тех, кто стоит у руля. Случайных людей там, в принципе, не может быть, как нельзя жить без кислородной маски на Эльбрусе. При разреженном догмой воздухе нормальные люди быстро задыхаются и сходят вниз (как, например, П. Н. Решетов). Остаются одни верноподданные — плечом к плечу — в защитных масках и в теплых стойлах. Эти условия для тех, кто у кормушки, неприменны. Однако надежда на таких — хлипкая. Как учит история, верноподданные не раз уже предавали. В 1917 году — не в последний раз.

Не хочу пророчествовать, но дело-то действительно пахнет “зачислением по химии”, как в “Отцах и детях” говорил о трупах естествоиспытатель Базаров.

Между тем Солженицын (математик по образованию, артиллерист по фронтовому опыту) точно рассчитал траекторию, и не просто до точки падения, а до взрыва “фугаса”, и действует в соответствии со своим расчетом. У нас исключили, зато там — это уж наверняка — “включили”, сделали ставку на него. О художественной стороне произведений Солженицына говорить не буду. Он бывший политзаключенный (ст. 58 УК РСФСР), ставший самым известным политписателем. То, что он пишет и как действует по жизни, — все это по большому счету в одном ключе — политическая борьба, в которой цель оправдывает средства. Речь идет о миссии, которую взял на себя А. И. Солженицын, и, судя по всему, у него хватит характера и ума довести дело до логического конца. По своему генотипу он — революционер, но никак не смиренный эволюционист (что ни говори — южная кровь). Не хочу его обидеть, но он игрок по природе, со всеми вытекающими отсюда следствиями. И играет он как по нотам. Словом, как в той веселой песенке: “Судьба играет человеком, а человек играет на трубе”. Весь вопрос в том, а вдруг эта труба — Иерихонская?

30 сентября 1972 г.

...Послушайте мене, аще не всего примете, то половину.

Владимир Мономах

“Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? — спрашивал В. О. Ключевский и отвечал: — Вероятно, потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения”.

Знать, и мне пришла пора оглянуться, чтобы на оставшемся пути меньше “спотыкаться”.

Своего отца я видал в последний раз в 1941 году, когда мне было десять лет, перед его уходом на фронт. Бабушек и дедушек я вовсе никогда не видел. Но ведь они были! Единственным связующим звеном с моими предками является мама. Кое-что мне удалось в свое время записать с ее слов — о характере дедов и бабушек, об их склонностях, отношении к труду. Надо бы и другие вопросы маме задать. Например, каково было отношение предков к проблеме “духа и материи”? Это меня давно занимает в плане нравственно-психологического “зондажа” прошлого.

Мои родители с обеих сторон — казаки. Мама — кубанская казачка, отец — казак яйцкий, из бывшей Оренбургской губернии. Из тех самых мест, куда Пушкин ездил, когда собирал материал о Пугачевском бунте. В характере отца чувствовались сила, энергия, мужество. На редкость твердый и упорный человек моя мама. Не случайно, видно, из Оренбургской губернии и из области Войска Кубанского вышло немало известных воинов, геройски сражавшихся под знаменами Отечества.

Святых же, подвизавшихся на ниве духовного совершенствования, с удалением от крупных центров национальной культуры, согласно статистике, ста-

новится все меньше и меньше. Всего канонизировано более семисот русских святых. Из них абсолютное большинство – выходцы из центральных, черноземных и северных губерний России: Сергей и Никон Радонежские, Зосима и Савватий Соловецкие, Стефан Пермский, Епифаний Воронежский; и так вплоть до одного из последних известных святых – Серафима Саровского. Родом он из Курска, но прославился в Сарове Темниковского уезда Тамбовской губернии еще при жизни Пушкина.

Интересная закономерность получается. Ни одна губерния России не дала столько великих писателей, сколько их вспоила на своих “мелких водах” Орловщина. Если всех перечислять, длинный столбец получится. Назовем лишь несколько имен: Тургенев, Тютчев, Фет, Лесков, Бунин. За Орловщиной ранее числились часть нынешних Курской, Брянской и других областей. Вот и выходит, что писатели и святые были у нас в основном из одних и тех же мест. На окраинах России, в той же Сибири, и святых, и писателей было куда меньше и числом, и “калибром”. В такой же прогрессии находилось и “воспроизводство” российских ученых и изобретателей. Для того, чтобы этот процесс выровнялся и Россия стала “прирастать Сибирью”, понадобилось много усилий всей державы, пока повсюду не образовались крупные очаги культуры, а значит, и национального самосознания.

Очаги культуры – это зримое проявление творческого гения нации, одна из движущих сил исторического прогресса. Ныне трудно сказать, какая из областей России содержит самый что ни на есть стойкий “экстракт” национального духа. Впрочем, процесс движения соков по древу жизни идет неисповедимыми путями. Важно, чтобы при всех “непогодах” корни оставались целы. Мы – нация молодая, так что у нас, не в пример другим, все впереди.

Недавно я слышал по радио передачу о нашем современнике – видном китайском дипломате, который ведет свою родословную от великого Конфуция, жившего в 551–489 годах до н. э. Что и говорить, жить под сенью такого генеалогического древа и почетно и ответственно. Но ведь у каждого из нас столь же давняя родословная. Только мы ее не знаем, а порой даже и не пытаемся установить своих давних предков. Слов нет, конечно, интересно читать о выдающихся людях, например, о младшем современнике Конфуция, афинском стратеге Перикле – покровителе искусств, строителе Парфенона, Пропилеи, Одеона... Все это было так давно, но... не кануло в Лету. Потому меня несколько не удивит, если по телевидению покажут как-нибудь наших современников – родичей печальной известности прокуратора Иудеи Понтия Пилата.

Конфуций, Перикл, Понтий Пилат... Однако “на первое возвратимся”, как любил говорить протопоп Аввакум в своем “Житии”, будем ближе к “зlobe дня”.

Во время одной из телепередач корреспондент спросил у ребят, спасших от неминуемого сноса старинные московские палаты XVIII века, знает ли кто-нибудь из них своих прадедов?

На вопрос корреспондента не ответил никто, кроме одного юноши. Он бойко назвал имя и отчество своего прадеда. Но когда его спросили, кем тот был, парень, смутившись, сказал, что прадед был владельцем завода. Как бы оправдываясь, он прибавил: “Совсем маленького заводика...” Чувствовалось, что он был явно обескуражен, как будто принимал на себя вину прадеда-заводчика. И тем не менее я порадовался просыпающемуся гражданскому мужеству молодого человека. Не сделав такого шага, нельзя навести мосты между прошлым и будущим. Социальная оценка фактов и событий обязательно должна даваться, но и бояться нам нечего. Примером может служить исполненная достоинства автобиография профессора МГУ поэта В. М. Василенко. Виктор Михайлович помнит не только дедов. Он знает и гордится далекими пращурами. “Я родился в 1905 году в военной семье, – пишет В. М. Василенко. – Оба мои деда – генералы. Мой дед по отцовской линии, Иван Иванович Василенко, известен был как герой Шипки и Плевны. Он первым вошел со своим полком в Плевну и взял в плен Осман-пашу. По материнской линии у нас было предание, что род матери происходит из членов семьи поэта и философа Григория Сковороды”.

Жизнь у В. М. Василенко сложилась непросто. После войны ему пришлось трудиться, как тогда говорили, “в местах не столь отдаленных”, – на уральском Севере, в тундрах Воркуты. Но он не сломился, не пал духом.

Протопопу Аввакуму было не легче. “...Сковали руки и ноги... Увы мне!” – горестно вздохнул на всю Россию ссыльный протопоп в своем “Житии”. Это “Увы мне!” из века в век будет повторено вслух и про себя, но не как стон,

а как осознание неминуемости судьбы и готовность к самопожертвованию. “Когда волны уныния поднимаются в нашей душе, — памятовал Виктор Василенко слова Нила Сорского, — теряет человек в это время надежду когда-либо избавиться от них”. Арестованный по делу петрашевцев Федор Достоевский по этому поводу еще конкретнее высказался: “Главное — не уныть, не пасть духом”.

В. М. Василенко с благодарностью воспринял “опыт” классиков. Доказательством может служить переведенное им в лагере стихотворение Эдгара По “Ворон”. Чудом уцелевшую тетрадку из разорванной “для нужд жизни” книги Эдгара По на английском языке Василенко подобрал в лагере на Инте. Как туда попали стихи великого американца, сказать трудно. Василенко буквально остолбенел, когда в руках у него оказались стихи По. Он сложил “Ворона” вдвое и положил под стельку правого ботинка. Ботинки были не парные, правый — больше левого. Стихи остались целы. Они надолго скрасили ему жизнь. Не имея ни клочка бумаги, Виктор Михайлович переводил стихи на память. До этого “Ворону” посвятил одну из лучших своих картин Поль Гоген. Стихотворение переводили Мережковский, Брюсов, Бальмонт. Перевод Василенко по настроению, плавности и гибкости стиха, пожалуй, ближе всего к подлиннику. И не мудрено. На это у переводчика ушли лучшие годы жизни.

*Как-то полночью глубокой размышлял я одиноко
Над старинным фолиантом — над преданьем давних лет,
И, охваченный дремотой, стук услышал, но отчета
Дать не мог: стучится кто-то, увидав в окошке свет.
“Гость, — промолвил я, — стучится в дверь мою, завидев свет, —
Ничего другого нет!”*

Первой высоко оценила перевод “Ворона” А. А. Ахматова. Она подарила автору свою книгу “Подорожник” (1924 г.) с дарственной надписью: “Виктору Василенко с верой в его стихи. Анна Ахматова”. Мария Сергеевна Петровых рассказывала, что такого посвящения Ахматова за тридцать лет их знакомства никому не делала. Встреча Анны Ахматовой с Виктором Михайловичем была трезной со стихами.

Ахматова читала свой “Реквием”:

*Буду я, как стрелецкие жонки,
Под стенами кремлевскими выть...*

Василенко рассказал Анне Андреевне о последних днях жизни ее мужа — профессора, известного ленинградского искусствоведа Николая Николаевича Пунина, умершего в лагере. Впоследствии Н. Н. Пунин был реабилитирован за отсутствием какой-либо вины.

Сам В. М. Василенко проходил по так называемому делу Даниила Андреева — сына писателя Леонида Андреева. Их обвинили в заговоре с целью убийства Сталина. Большую нелепость придумать трудно. Василенко и мухи-то не обидит. Тем не менее срок определили — 25 лет. Василенко, как тогда говорили, “отволлок червонец”. Так что времени у него было достаточно и на Эдгара По, и на любимых им “парнасцев” — Леконта де Лиля, Теофиля Готье, Хосе Мариа Эредиа. В конце 1950-х годов В. М. Василенко был реабилитирован. Если говорить строго, то вся его “вина” состояла лишь в том, что он был сыном царского полковника.

“Гордиться славой своих предков, — писал Пушкин, — не только можно, но и должно: не уважать оной есть постыдное малодушие”. Вспомним, с каким достоинством поэт писал в своей родословной об “арапе Петра Великого”, о Ганнибалах, о Пушкиных, чьи подписи стоят под соборным постановлением 1613 года, ознаменовавшим конец Смутного времени на Руси. Или, чем не пример, гордость за своих предков А. В. Суворова. Не чванство разветвленным генеалогическим древом, украшенным дворянскими гербами, а сознание преемственности поколений в их службе на благо Отечества.

4 ноября 1978 г.

В Загорске ходит по рукам машинописный текст Открытого письма митрополита Антония (Мельникова) священнику Александру Меню, часто навещающему лавру, ибо живет он, кажется, в Хотьково.

“Я знал, — пишет Владыка Антоний, — что Вы являетесь крещеным евреем. Такое сочетание нисколько не смущает меня, как и любого православного человека, потому что антисемитизма нет в самой природе Православия.

... Дело не столько в Вас как в богозданной личности, сколько в тех видимых и невидимых силах, которые управляют Вами. Условное собирательное имя этим силам — сионизм. Условным я называю это имя потому, что на самом деле гора Сион — гора святая, Божия. Но названием этой горы воспользовались для обмана непосвященных силы, глубоко враждебные Богу и всякой святине и самому еврейскому народу.

<...> Важнейшей задачей сионизма, а также различных организаций, вроде масонства и других тайных и явных обществ, является приведение еврейского народа и по возможности всего человечества под власть Антихриста, который воцарится в Израиле как мессия. Об этом лжемессии, его духовных приметах и признаках известно очень много. Достаточно вспомнить только слова Спасителя: *Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если придет во имя свое, его примете* (Ин. 5, 43). Вот этот приходящий во имя свое, как земной владыка Израиля и всего мира, и есть тот “мессия”, которого ждут сионисты и пришествие которого они деятельно сейчас готовят. Это и есть Антихрист.

Поэтому сионизм особенно заинтересован иметь в Православной Церкви своих “постовых”, которые встречали бы людей, искренно идущих к истине, и провожали бы далеко от нее, стараясь, однако, уверить, что ведут их верно, именно — к Православию. Задача таких „постовых” — под видом правды проповедовать ложь, под православной оболочкой наполнять души людей угодными сионизму взглядами и настроениями. Таким „постовым” сионизма в Православии и являетесь Вы, отец Александр. Это Ваше конкретное место в многосложной системе сионизма. Это Ваша давняя, продуманная и добровольно взятая на себя миссия. И мне известно, что Вы сами это хорошо знаете”.

Мне дали “Открытое письмо...” ненадолго, потому я не пытался переписать весь обстоятельный ответ Владыки Антония на высказывания о. Александра Меня в его интервью сионистскому самиздатовскому журналу “Евреи в СССР” (1975, № 11), успел переписать лишь самую малость.

“...Вы образованный и умный человек, о. Александр, — пишет владыка Антоний, — а потому совершенно умышленно в полном соответствии с тактикой отца лжи смешиваете два разных понятия — о еврейском народе и об иудаистской религии — в одно понятие. А это уже подло. Оно ярко свидетельствует о том, что не антисемитизм, которого нет в Православии, а антисионизм, то есть верность Православия Христу Истинному, претит Вам более всего и более всего заботит Вас. Видеть Русскую Церковь одним из орудий и течений сионизма — вот что хотели бы Вы и Ваши хозяева.

<...> Сионизму и его союзникам как раз и нужна церковь-кукла, по видимости христианство, а по сути подделка. Такой вселенской “церковью” можно было бы управлять как угодно и прежде всего для того, чтобы она признала истинным Христом израильского лжемессию, Антихриста, и помогла бы установить в мире его духовное и политическое господство...”

Старые монахи, с которыми я советовался по поводу мыслей и фактов, высказанных в “Открытом письме...” владыки Антония, без обвиняков говорили, что в настоящее время положение в Русской Православной Церкви очень сложное. В Москве и Подмосковье охотно рукополагают в священники евреев, многие из которых являются духовными чадами о. Александра Меня. Сложное положение в этом смысле не только с кадрами в семинарии и Духовной академии, но и в епископате Русской Православной Церкви. Монахов беспокоит то, что у последователей о. Александра Меня горячая любовь к сродникам по плоти выше их любви к Церкви, и здесь лаврские молитвенники целиком солидарны с владыкой Антонием, ибо, по учению апостола Павла, нет двух разных богоизбранных общностей — Церкви Христовой и Израиля как народа по плоти, но есть только один богоизбранный народ — христианская Церковь.

Многие из моих собеседников в лавре, несмотря на конкретные факты проникновения сионизма в Московскую Патриархию, тем не менее считают, что глубинных корней он не сможет пустить на Русской земле. Дескать, нечто подобное было пятьсот лет тому назад, во времена борьбы с ересью жидовствующих. Такая же участь ждет “жидовствующих” нашего времени. Посеянные сионистами семена всходят в основном в среде либеральной московской ин-

теллигенции, подверженной западному рационализму. Они пытаются соединить науку с религией – “алгеброй поверить гармонию”. Но ведь главное в Церкви – любовь: *Буква убивает, Дух животворит* (2 Кор. 3, 6).

25 декабря 1978 г.

Все проходит.

Надпись на кольце царя Соломона

Думаю, что А. И. Солженицын и В. Т. Шаламов – как те коса и камень. Казалось бы, оба прошли суровые испытания. Правда, Солженицын побывал лишь “в круге первом”, Шаламов прошел все круги советского ада. У Солженицына гулаговский срок – восемь лет, а у поповского “сынка” Шаламова – четверть века, причем большая часть – в колымских лагерях. Но, встретившись на воле, они тут же и разошлись. Более того, Шаламов, как мне известно, влил Солженицыну, что называется, промеж глаз. Об “Иване Денисовиче” отозвался с убийственной иронией, дескать, какие еще кошки в ИТЛ, их давно уже съели во всех лагерях. Нобелевского лауреата Шаламов причислил к разряду дельцов, делающих гешефт на святой теме, и не разрешил пользоваться своим обширным лагерным архивом.

Примечательно, что у Солженицына была возможность помочь Шаламову опубликовать свои рассказы в “Новом мире” у Твардовского, но он для этого и пальцем не шевельнул, ибо правда Шаламова о лагерях и людях была гуще солженицынской, да и в художественном отношении не слабее.

Ныне Солженицын выступает в своих многочисленных интервью как апостол морали и нравственности, но в самом деле – то он каков? Честнее, стыдливее, благороднее ли он своих героев и тех, кто, как Твардовский, к примеру, помогал ему выплыть, жертвуя собой?

Я интуитивист, и к тому же есть кое-какой опыт общения с художниками – людьми, нередко склонными к самовозвеличению. Это не такой уж и большой грех, скорее – способ самозащиты, – слаб человек. И все-таки что-то не лежит душа к Солженицыну, искушаемому непомерным самовозвеличением. Ведь сколько до него громко квакающих лягушек попались на ту самую соломинку, через которую их и надували. Говорю, не умаляя достоинств и сильных качеств Солженицына. Но, повторю, такого чувства, как к бойцам и молитвенникам за Россию – П. Д. Барановскому, Л. И. Антропову, М. И. Погодину, Л. М. Леонову, Б. В. Шергину, – у меня к А. И. Солженицыну как-то даже не шевельнулось в душе. И что характерно, за все время, начиная с 1963 года, никто из упомянутых мною друзей ни разу серьезного разговора о Солженицыне не заводил. Он – сам по себе (теперь и вовсе – вещает “с того берега”), а они – здесь со своими заботами и, что очень важно, – со своими праведными трудами и молитвами обо всем, что дорого и свято. Известное дело: Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Или еще: одним – закон, другим – благодать.

Уверен, что такие люди, как П. Д. Барановский, и в жизни, и на допросах в Лубянской тюрьме, а потом на пересылках и в лагерях вели себя не менее достойно, чем Солженицын. Но потом, пройдя круги ада, они весьма неохотно вспоминали о своих страданиях. Разве мог П. Д. Барановский или тот же В. Т. Шаламов не то что написать, а даже подумать столь патетически, как Солженицын: “Благословение тебе, тюрьма...” Слишком сильно и даже красиво сказано для русского человека. Разве мог, к примеру, почитаемый Солженицыным протопоп Аввакум сказать так? Да ни в жизнь! “Сковали руки и ноги и на беть кинули... Увы мне!” – горько “воздохня” о своей судьбе, только и промолвил Аввакум. “Все мимо идет, одна душа непременна”. В этом “увы мне” русского мужика слышится не просто сердечное сокрушение, а покаяние. Но никак не гордый вызов, ибо есть понимание, что мирская слава проходит, “акы травный цвет”. И это в русской традиции. А у Солженицына и литературная традиция (круги Дантова ада), и философская традиция (идущая не от отцов Церкви, а от поздних франко-английских умников), и главное, молитвенное правило – в своей основе не православное, а, скорее, баптистское, сектантское. Нет в его рассуждениях глубокого внутреннего делания, восходящего к преподобному Сергию, к ученикам и последователям его – святым Иосифу Волоцкому, Геннадию Новгородскому – всем тем, кто не столько о пресловутых правах человека имел попечение, сколько нацелен был на выведение ереси жидовствующих на чистую воду.

Варлама Шаламова московские витии, сами не отведавшие и фунта лиха, ругают, дескать, он “ссучился”, написал покаянное письмо, чтобы его не высылали за бугор, купил-де себе свободу. Смирennemудрый Шаламов, слава Богу, не хочет ни в Париже, ни в Лондоне умирать. Уж лучше здесь на жесткой солдатской койке, мало чем отличающейся от лагерных нар, от которых он не отвыкал во всю свою жизнь.

Раб Божий Варлам, по всем статьям, должен быть причислен к новомученикам российским. Им несть числа. Вспоминаю матушку Катуар, как мы ее с Галей звали, которая до самой смерти Е. В. Гольдингер приходила к ней и безвозмездно помогала – лечила, убирала, мыла, чистила, готовила. Делала она это с неиссякаемой любовью, пришедшей к ней не по закону, а по благодати. Как и Шаламов, матушка Катуар провела в лагерях четверть века. И всего-то за то, что дед ее был промышленником, память о котором сохранилась в названии подмосковной станции Катуар (Савеловское направление). Маленькая, щупленькая, ясноглазая матушка Катуар была для нас воплощением доброты и участливости к людям. Вот на таких лагерниках, как Шаламов и Катуар, и держится мир Божий. Глядя на них, и мы несем свой крест как можем, но скулить и тем более раздирать язвы, дабы разжалобить весь мир, не собираемся. Упаси нас Бог от всех бед, а наипаче от “страха иудейска”. Не тем будь помянут нобелевский лауреат с “того берега”.

Кстати, у меня есть по меньшей мере две заваyki, ответы на которые я не нашел в произведениях Солженицына, завезенных из-за границы, и в литературе о нем, изданной по обе стороны: 1) зачем ему понадобилось изменять свое отчество? Если его отец – Исаакий Семенович, то сам он должен именоваться Александром Исаакиевичем, но не Исаевичем. Я понимаю К. М. Симонова, не выговаривавшего букву “р” и звавшегося вместо “Кирилла” “Константином”. Солженицын не грассирует, а вот фамилию своих предков, говорят, изменил. 2) Почему, гордясь своей русскостью, не публикует Солженицын генеалогического древа и фотографии родных и близких? Ведь он из богатой семьи, владевшей землями и заводами, в том числе винокуренными. Брат матери Роман имел собственный “Роллс-Ройс”, так что на семейную фотографию в свое время могли бы и раскошелиться. Да вот беда, ни единой фотографии крупным планом не опубликовано, чтобы можно было отцу-матери, деду-бабушкам в глаза посмотреть. Тогда многие вопросы можно было бы снять, в том числе мировоззренческие, философские и даже генетические.

10 августа 1979 г.

– Человечество стареет, – сказал Леонов. – Возьмите проблему перенаселения, экологическую контрреволюцию, проблему пропитания. Человечество катастрофически, неразумно воспользовалось открытием атомной энергии. В нынешнее время, – продолжал Л. М., – правительство и весь народ как никогда в истории должны много и глубоко думать, прежде чем принимать какие-либо решения. Например, как решить проблему взаимоотношений с Японией и Китаем? В Японии нет никаких полезных ископаемых, все ввозится. Страна маленькая по площади, огромная по населению. Мы говорим им: давайте дружить. А это похоже на дружбу нищего и миллионера. Когда у них не будет воздуха, чтобы дышать, еды, чтобы кормить людей, они набросятся на нас как на ленивого и жирного медведя. Это недалекая перспектива. Когда на тысячу китайских солдат будет один умный, образованный офицер, тогда-то и начнется все то, что предрекал Глеб Успенский. Мы плохо учим и воспитываем наш народ, – говорил Л. М. – В Китае, Японии воспитывают фанатизм. В Кампучии один 12-летний мальчик расстрелял по указке взрослых более 300 человек, и сделал это, не моргнув глазом. Он ел вырезанную печень своих “врагов”. Это, конечно, зоологическое явление, но ведь ему надо что-то противопоставить. А у нас как? Включите телевизор, и вы в тысячный раз увидите “Приключения Буратино”. Это для воспитания не годится как универсальное средство. Нужно что-то другое. Лучше уж “Руслана и Людмилу” показывали бы.

Диенко отреагировал на заполнение средств массовой информации, назвав телевидение ТЕЛЬАВИдением.

– О-о-о, – протянул Леонов, – с этим народом надо быть очень тонким и умным.

По нескольким замечаниям Л. М. можно было понять, что напролом и сплеча, горлопанством эту проблему решать не только нельзя, но даже вредно. У евреев можно и должно поучиться во многих вопросах.

— Я люблю читать Библию, — говорил Л. М. — Помните, как Лот торговался с Богом, сколько можно оставить святых в городе: “три, ну два...” Это же шекспировская сцена! Умные люди... Вы заметьте, 2000 лет после рассеяния они, ежегодно собираясь в назначенный день, поднимали тост: “За встречу в будущем году в Иерусалиме!” А нас и на пятьдесят лет не хватило.

— Я был в Америке, — рассказывал Л. М. — Нам, четырем писателям, устроили прием. После обеда все разбились на группки и прошли в комнаты, чтобы поговорить. Я попал в кампанию 20 американцев. Они знали, с кем имеют дело. Завели разговор и как проверочный тест попросили меня рассказать самый последний московский анекдот. Я исподволь осмотрелся. Меня окружали только *они*. Ждали от меня ответа. Я уходил от него. Напротив меня сидел, скрестив по-наполеоновски руки на груди, Геллап — старший (директор Института общественного мнения). Умный такой... Глаза черные, так и сверлят...

Л. М. не сказал, что и как он отвечал им, но понять его было нетрудно.

— С этим народом — надо быть начеку, а не нараспашку по-русской простоте.

Когда Диенко передал Л. М. привет от писателя N, то Л. М., как я понял, и к Диенко отнесся в этот момент не с большим пиететом, чем к N.

— Бойцы тоже нужны, — поняв Л. М., сказал Диенко.

“Нужны, но более умные, выдержанные, а значит, и более стойкие”, — такой ответ можно было прочитать в неопределенных междометиях Леонова.

— К талантливым людям *они* особенно внимательны. К ним они ищут ключ и, найдя его, пользуются им без стеснения... Как-то мы едем с женой на машине, — вспомнил Л. М. — Шофер спрашивает меня, не писатель ли я. Когда узнал, что писатель, рассказал, что часто возил Маяковского и Лилию Брик. “А та едет, — рассказывал шофер, — и все гудит ему на ухо: “Володя, нужны деньги, Володя — деньги, деньги”. Вот он и работал для денег”. В Библии сказано, что если тебе дан талант, то не нарушай заповеди и не глумись над ним, не разменивай его на пятаки. Маяковский же то и дело писал для Моссельпрома ради денег. А это обязательно влечет за собой наказание за унижение Божьей милости — дарования. Думаю, Маяковский был половой импотент. Брик умела делать из него мужчину. За это он по-собачьи был привязан к ней и в конечном итоге поплатился за свою слабость. Виной была еще и его непомерная жажда славы. На эту удочку он тоже клевал. Поэт же он был на редкость талантливый.

*Я хочу быть понят моей страной.
А не буду понят — что ж?..
По родной стране пройду стороной,
как проходит косой дождь.*

Леонов прочитал стихи и как бы про себя заметил:

— Ах как здорово!

Физическая и духовная неполноценность — вот беда Маяковского — так можно было понять Л. М-ча...

— У меня была трудная литературная биография, — сказал Л. М. — В 1931 году я возвращался вместе с Горьким из-за границы, куда он меня приглашал. Горький перевозил вещи, книги. Ехали поездом. В Москве Горький меня не оставлял без внимания и ласки, часто приглашал в гости. Как-то прихожу к нему. Горький предложил посмотреть библиографические редкости, которые он собирал. Я тоже собирал книги. Когда работаю над эпохой, то люблю заглянуть в нужную книгу. Она так и лежит на столе. Я посмотрел книги, выхожу, — продолжал Л. М., — а у Горького в гостях Сталин. Тогда у них “медовый месяц” был (Сталин—Горький). Меня представили. В это время я был председателем Союза писателей (с 1929-го по 1932-й), в который входили Новиков, Лидин и ряд других серьезных писателей. Был еще и РАПП, который позже распустили.

Леонов хотел было откланяться, чтобы не мешать Горькому и Сталину, но Горький оставил его обедать. За столом сидели так: по одну сторону — Горький и Сталин, по другую — Леонов, Ворошилов, полярный летчик Чухновский и Бухарин. Были за столом сын Горького Максим и жена Максима.

– Сталин и Горький вели оживленную беседу, громко смеялись, шутили. Ворошилов тихонько спрашивал меня о делах литературных. Я сказал что-то о Вс. Иванове. Вдруг Сталин, который, оказывается, слушал наш разговор, спросил:

– А что, Всеволод Иванов, похоже, исписался?

– Прежде чем мне ответить, – продолжал Леонов, – Горький сказал Сталину, что я буду и имею право говорить от имени русской литературы, и добавил еще несколько слов обо мне, которые мне и повторять неудобно. Сталин три четверти минуты в упор смотрел на меня и крутил ус. Я выдержал взгляд, хотя это нелегко было, не спрятался “за ширму”, как говорили в кругу вождя. Сталин кивнул и сказал Горькому:

– Понимаю.

– То, что Горький так меня представил Сталину, и то, что я выдержал его взгляд, наверное, многое сыграло в моей жизни, – заключил Леонов.

Л. М. не стал пересказывать все то, что он сказал Сталину. Закончил же он в том духе, дескать, когда вы, товарищ Сталин, чем-то недовольны, то лучше сами топайте ногами и ругайте нас, чем поручать это злым людям.

– Зачем топать ногами – этого не надо, – сказал Сталин и налил всем по полной рюмке для нового тоста*.

– После успехов у меня пошла полоса трудного времени, – продолжал Леонов. – Жена Всеволода Иванова, русская бой-баба из семьи купцов, бывшая жена Бабеля, поссорила меня с Горьким. (Бабель полгода от нее скрывался в Париже, чтобы она его оставила. Она в это время овладела Вс. Ивановым.) Вышел “Скутаревский” – в газетах и по радио – полный разгром. Жена пошла к А. А. Фадееву. Он жил в Переделкине, рядом. Хотела посоветоваться с ним. До этого он как-то гостевал у нас три дня. Когда она пришла, то Фадеев разговаривал с ней с балкона и даже не пригласил в дом. Знать, дела мои были плохи, – заключил Л. М. – В “Русском лесе” я потом использовал этот эпизод с балконом, когда Вихрову на лицо капает дождь. Меня пригласил редактор “Известий”. Я пришел, у него вино, компания. Заговорили обо мне. Радек – циник, но умный человек, – стал зло подшучивать надо мной. В это время вошел Александр Николаевич Поскребышев. Он спросил: “Радек, читал новый роман Леонова?” Тот ответил, что читал и роман ему не понравился. “Ничего ты не понимаешь, – сказал Поскребышев. – Хороший роман”. На следующий день в газете появилась статья в мою поддержку. Оказывается, это была оценка Сталина. У меня было такое ощущение, что всю жизнь Сталин хотел меня загнать в свой загон. В 1946 году меня выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета. Вызывает как-то Поликарпов в ЦК и без обиняков говорит, что надо написать статью о Сталине. Я ответил, что не могу этого, не умею. Тон беседы был категоричный, требовательный. Я уступил. Так появилась статья “Первый депутат”.

Держали меня вплоть до войны в трудных материальных условиях, – продолжал Леонов, – пьесы “Половчанские сады”, “Волк” то ставили во МХАТе и в Малом одновременно, то замалчивали и ругали на чем свет стоит. Началась война. Семья уехала в Чистополь. Я с дачи даже не смог увезти подарок Фалилеева – цветную гравюру, за которую В. В. Матэ дал Фалилееву Золотую медаль и загранпоездку. Гравюру украли. Семья в Чистополе, я без денег в

* Л. М. Леонов умолчал о весьма существенном эпизоде при окончании обеда у М. Горького. Владимир Солоухин (не знаю уж, из каких источников) подробно описал мне его. После диалога Сталина–Леонова обед продолжался, перемежаясь тостами. Все пили поровну и до дна. Вдруг Сталин заметил:

– А что это товарищ Леонов не пьет? Поднимет рюмку, пригубит и поставит на стол. Леонов ответил, что у него завтра ответственный рабочий день и утром должна быть свежая голова.

Тогда Сталин сказал:

– Ну что ж! У товарища Леонова завтра рабочий день, а нам вроде бы работать и не надо. Уже поздно. Так давайте тогда отпустим товарища Леонова. Пусть он идет спать, а мы еще посидим.

Леонову ничего не оставалось, как выйти из-за стола и раскланяться.

За него вступился Горький, сказав, что Леонов порядочный чудака и вместе с тем отличный писатель и надежный друг. Сталин спросил у присутствующих:

– Ну как, товарищи, уважим Максима Горького?

Все, конечно, поддержали Горького. Леонова вернули с полпути, и застолье продолжилось.

Москве. Написал два короткометражных киносценария для Всеволода Пудовкина. Получил 14 тысяч. Когда ехал с “Мосфильма”, зашел в Госбанк и 8 тысяч переревел для войны. Наверное, это был один из первых вкладов. Сижу дома, вдруг звонок от Храпченко: “Надо написать хорошую пьесу. Это от Сталина передали”. Поехал в Чистополь. Жили бедно. Пьесу писал на ящиках при свете копилки. Пьеса “Нашествие” понравилась. На репетициях в театре я работал вместе с режиссером. Пришлось переписать только образ молодого Таланова. Он у меня походил на политического, порекомендовали сделать его уголовником.

В двух фрагментах нового романа, опубликованных в журналах “Наука и жизнь” и “Москва” (“Мироздание по Дымкову” и “Последняя прогулка”), Леонов высказывает свои мысли о способностях человека двигаться по вертикали времени в ту и другую сторону. Когда он приехал к Ванге, она его вдруг спросила: “Что это ты такое страшное людям предсказываешь?” О романе Леонова Ванга ни от кого не слышала (речь идет о “Последней прогулке”).

Леонов рассказывал об академике-биологе Н. К. Кольцове, с которым был одновременно в гостях у Горького на Капри. Академик, между прочим, вывел генеалогическое древо Леонова до четвертого-пятого колена. Со стороны матери Леонов – из откупившихся крепостных крестьян Ярославской губернии, Любимского уезда, села Ескино. В 1927 году Леонов побывал в Любимском районе. Из рассказов местных жителей узнал, что его прапрадед однажды в лесу нашел медвежонка, которого подарил проезжавшему соседскому помещику Лисину. Помещик приехал в гости к хозяину леоновского пращура и похвалился подарком. Хозяин приказал надеть на пращура рогатку, которая не давала возможности ни лечь, ни в избу войти, так как от шеи шли огромные сучья – шипы. Ночью пращур пришел к кузнецу, упросил расковать его на время и ушел в лес. Утром он пришел к помещику и принес ему медвежонка, которого ночью нашел в лесу. Помещик удивился и сменил гнев на милость. Позже прадед Леонова (портрет которого, почерневший от пожара, висит у него дома) откупился и стал заниматься извозом. Возил в Москву рябчиков и прочую боровую дичь. Знание леса, тайн его перешло к Леонову по наследству. Леонов удивил нас, сказав, что он в детстве своими глазами видел русалку. Рассказывал он это без малейшего юмора. (Надо относиться к чудесам спокойно, без паники.)

– Встретившись с волхвом, кудесником, не следует бояться его. Надо принимать это как должное. Не следует отмахиваться от народных поверий, преданий, всего того, что накоплено сознанием народа за долгие тысячелетия, – продолжал Леонов. – Хорошо сказал блаженный Августин о чуде: “... Чудо – это то, чего мы не знаем о природе”.

Среди русских ясновидцев Леонов поминал Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, который, кстати, “подвигнул” на подвиг Н. К. Рериха.

Леонов встретился с Ю. Н. Рерихом на выставке Н. К. Рериха, ходил по выставке, разговаривал. Потом Ю. Н. Рерих бывал у Леонова дома. Между прочим, Юрий Николаевич рассказал Леонову, как они втроем с трудом удерживали за ножки кресло, которое подняла на воздух необъяснимая сила. Живя в Индии, Рерихи имели возможность прикоснуться ко многим тайнам мира сего. Ю. Н. Рерих рассказывал Леонову, что он был свидетелем явления “апорт”, когда возникало изображение вызываемого предмета (спиритизм).

Леонов неоднократно встречался с Вольфом Мессингом. Тот не произвел на него большого впечатления своими опытами. Только один раз Мессинг поразил Леонова. В 1945 году, будучи в рейсханцелярии Гитлера в Берлине, Леонов получил в подарок от советского сержанта Марка Шапиро – коменданта рейсханцелярии – серебряную ложку Гитлера со свастикой (другая была подарена Черчиллю) и автограф Гитлера – тезисы выступления на одном из собраний национал-социалистов. Когда к Леонову пришли танкисты-генералы и привели с собой Вольфа Мессинга, то Леонов дал в руки Мессингу завернутую в трубочку бумажку, исписанную Гитлером. Мессинг весь напрягся, когда его спросили об авторе записки. Предварительно Леонов сказал, что он “этим человеком” давно поссорился и поэтому Мессинг может говорить не стесняясь. “Этот человек ужасный, – сказал Мессинг, зажав в кулаке бумажку с автографом. – Он страшный эгоцентрик, и нет такого предела, который бы он не перешагнул на пути к своей маниакальной славе”.

Спиркин заметил, что слова Вихрова о Грацианском (мол, тот влезает на гору не затем, чтобы дальше видеть, а для того, чтобы его все видели), он запишет для себя как некий итог нашего разговора.

– Надо развивать способности, а не потребности, – сказал Леонов, когда речь зашла о зlobe дня.

Общество, которое развивает потребности, – больное общество, – так можно охарактеризовать общий смысл высказываний Леонова на эту тему.

Двадцать четыре года Леонов был депутатом Верховного Совета СССР. За это время им написано восемь тысяч писем в ответ на вопросы трудящихся. К своим депутатским обязанностям Леонов всегда относился очень ответственно. Однажды его пригласили на собрание депутатов, где он услышал заявление одной депутатки, что она повесила табличку: дескать, по жилищным вопросам трудящихся не принимает.

– Как наша рабоче-крестьянская власть могла воспитать такого социального урoда, ставшего еще и депутатом? – заключил Леонов. – Депутат не может, не имеет права отгораживаться от народа.

Когда Леонову стало в тягость депутатство, он сам отказался от него. Дело дошло до того, что ему стало невозможно работать, так как люди дежурили в его подъезде, он раздавал им деньги, хлопотал, и плакал, и расстраивался, когда прикасался к народному горю. Однажды к нему на прием пришла поздней осенью солдатская вдова с тремя детьми. Старший мальчик шел по мерзлой земле в одних носках, младшие были на руках у матери. Увидев эту картину, услышав плач детей, Леонов не вытерпел. Вместе со всеми заплакал и он. Письма депутатского периода давали и дают Леонову богатейший материал из жизни народа, его нужд, запросов и мечтаний.

Однажды Леонов получил письмо, которое и до сих пор не может забыть. Писала молодая женщина, мать восьмилетней девочки. Ее муж развелся с ней и привел новую жену в комнату размером семь квадратных метров, где стояли друг напротив друга две кровати, у окна стол. Ночью молодые занимались любовью, и женщина призналась Леонову, что если ей не помогут в жилищном вопросе, то она либо зарежет молодых, либо наложит руки на дочку и себя.

– Ну как после этого не заниматься жилищным вопросом, – вздохнул Леонов. – Да я так “расскреб” местный Совет депутатов, что они, наверное, и по сей день меня помнят, – едва сдерживая ярость, сказал Леонид Максимович.

– Или еще вот, – продолжал Леонов. – Мне написал инвалид, несчастный человек, страдающий недержанием кала. Он жил в одной комнате, где кроме него проживало еще восемь человек – две семьи. “Что мне делать? – спрашивал мой адресат. – Как избавить окружающих от того ада, в котором они живут по моей вине?” Вот как ставился вопрос. И что же мне было делать? Тоже отказаться от приема “по жилищным вопросам”? Странное дело, – заключил Леонид Максимович, – власть наша народная, а многие избранники ее понимают свое положение как новую ступень для личного благополучия и “усовершенствованного” потребления.

Русские юридические всегда клеймили зло, но выступали они не речисто, как Савонарола. В их речах тем не менее есть стремление рубить не сучья зла, а само зло под корень. Леонов спросил вдруг про юристов и их на первый взгляд не очень связанные речи. Мне же подумалось, что эту традицию “рубить зло под корень” переняла вся наша литература, особенно того направления, которое перенял от юристов протопоп Аввакум, продолжил Гоголь, у него перенял Достоевский, а от него зажег свою свечу Леонид Леонов.

Заговорили об искусстве. Леонов достал свежий, февральский номер журнала “Америка”. На обложке было изображено произведение современной “живописи” – на светло-коричневом фоне ярко-желтый и красный прямоугольники.

– Разве можно пропагандировать это, с позволения сказать, искусство? – спросил Л. М. – А ведь это делается не только у них, но и у нас. Это общая тенденция времени, когда все нацелено не на решение духовных задач, а в первую очередь на потребление.

Леонов даже и не пытается искать оправдание или объяснение такому “искусству”. Он смотрит в корень, видит первопричину и яростно бичует ее.

Когда Леонов был в Америке и знакомился с Музеем современного искусства, то обратил внимание на экспонат, который представлял собой полотно с точкой посередине, от которой, как лучи от солнца, разбежались в сторону сотни золотых нитей.

– Прекрасно, – заметил Леонов.

– Вам понравилось? – спросил сопровождающий его мэтр от искусства.

— Да, — ответил Леонов, — но это комплимент не произведению “искусства”, а вашей промышленности.

23 мая 1982 г.

Я спросил, знал ли Леонов Николая Клюева.

— Знал и встречался. В 1931 году он приходил ко мне. Была у него такая привычка — прямо с порога: “Что-то вы сегодня плохо выглядите. Ночь, наверное, плохо спали?” — “Да, — говорю, — вчера был в Наркоминделе на приеме”. — “Ну и как? Вино было?” — “Было и вино”. — “И какое же? Заграничное или сове-е-етское?” — с ехидцей спрашивает Клюев.

В Клюеве, по мнению Леонова, было все неспроста. По одежде, разговору с нажимом на “о” — все вроде бы мужицкое, а за всем этим — Верлен и Верхарн на французском языке. Человек он был непростой, даровитый и вместе с тем — с изъянчиком...

Я сказал, что знаю об этом.

— Клюев, Есенин... — рассуждал как бы про себя Леонов. — У Есенина мне не нравится неряшливость в стихах, и потом он все-таки не затронул самого главного. Березки есть, но их любят и в Германии, и в Канаде...

Далее я боюсь, что мне не удастся передать слова Леонова. Смысл их сводится к тому, что Есенину не удалось сказать своего, нового слова о России. Павла Васильева Леонов считает более одаренным, чем Есенин.

— Талантливый был человек, — говорил Л. М. о Васильеве, — вел же себя безобразно, дебоширил. Попал под арест, а когда выпустили, то написал поэму и посвятил ее Ежову (!). Он принес мне эту поэму, а я был тогда в редколлегии “Нового мира”. Я ему деликатно говорю: мол, можно бы и без такого посвящения... дал бы слово, что не будешь пить, и достаточно. Так и не знаю, опубликовали эту поэму с посвящением или нет.

Мы около часа гуляли по улице.

Когда проходили мимо дома Шаляпина, что рядом с посольством США, Леонов сказал:

— Шаляпина, можно сказать, выгнали из России. Посудите сами. Жену заставили лед рубить на Неве. Шаляпин устроил у себя дома прием для руководства Петросовета. Хотел как-то найти путь к сближению. И вот, когда все изрядно выпили, один из приглашенных говорит: “Вот вы гений, а мы простые люди. Вы для нас устраиваете прием, а мы вас ненавидим”...

24 мая 1982 г.

В 13.30 позвонил Л. М. Леонову. Предварительно посмотрев “Всеобщую историю искусств”, т. III и “Каталог древнерусской живописи” Третьяковской государственной галереи, т. I—II, сообщил Леониду Максимовичу сведения о распятиях, западноевропейских и русских. Об этом мы говорили вчера в течение долгого времени. Леонову эти сведения нужны для романа. Я сказал, что у западных художников эпохи Возрождения, от Мазаччо, Микеланджело, Тинторетто до Грюневальда, Христос на распятиях изображен прибитым в стопах (со скрещенными ногами) одним гвоздем. Этим распятия западных художников отличаются от распятий древнерусских иконописцев, которые всегда писали Христа не со скрещенными в стопах ногами, а с прибитыми отдельно ногами.

Когда мы говорили вчера о распятиях, то Леонов заметил, что тема распятия требует монументального решения. Причем в такой технике, как мозаика, мелких деталей не должно быть. Все должно быть эпически крупно, значимо, весомо. При этом Леонов заметил, что нигде не встречал описания или изображения, как на земле прибывают Христа к кресту. Он всегда изображен уже распятым на кресте. Сделано это, как считает Леонов, намеренно. Каждый может додумать и прочувствовать боль и страдания Богочеловека, когда его прибивали гвоздями. “А ведь он, наверное, кричал при этом, — сказал Леонов. — Муки-то ведь страшные. А если бы не кричал, то сразу могли бы догадаться, что он Бог, а не человек. Нет, он и мучился, и страдал, как простой человек. Библия — высокохудожественное произведение. В ней прием умолчания весьма поучителен”. Чувствовалось, что Леонов вчитывается в Библию глубоко, как художник. Впрочем, не только как художник. По мнению Леонова, в XXI веке будет неслыханный подъем религии, который трудно даже представить нам, видящим сплошные руины Русской Православной Церкви. Леонов верит, что Церковь возродится, но она станет другой, не такой, какой была раньше (см. “Сен Си-

мон” в словаре Брокгауза: “Религия не может покинуть мир, она только переменяет вид”). Если суждено выжить в этих условиях русскому народу, то и он станет другим. Каким? Наверное, более расторопным, подтянутым, деловитым.

Я давно заметил, что Леонов всегда все конечные выводы и заключения замыкает на русский народ. Проблема русского народа, его история, его “гены”, его слабости, недостатки, отвратительные черты, его великая сила, бесконечный героизм, способность к самопожертвованию, наконец, его судьба и его будущее – все это, по существу, и есть главная и единственная тема не только творчества, но и всей жизни Леонова. По мнению Леонида Максимовича, все, что произошло с русским народом, – предопределенность, от которой никуда не убежать. Надо было какому-то народу нести крест и быть распятым на нем во имя вселенского спасения. И этот крест добровольно взвалил на себя, вынес на Голгофу и на нем был распят великий русский народ. Мир может быть спасен только лишь русским народом. А что будет с русским народом потом, и какова будет его судьба? Вот вопрос, который не дает спокойно спать Леонову – писателю и гражданину.

Роман, который пишет Леонов, – это последний подвиг художника-воителя. “Я устал и не закончу роман”, – несколько раз повторял Леонов, но всякий раз было ясно, что работать над ним он будет до самого последнего своего вздоха. Мужество и героизм русского народа – вот что придает силы старому Леонову, перешагнувшему уже толстовский возраст.

“Подняться в атаку под кромешным огнем врага и броситься вперед: “За Родину!” Да, это – подвиг. А разве не подвиг – снять с цементного пола вросший туда станок, вынести эту невероятную тяжесть по узкому проходу, погрузиться в эшелон, приехать в Кулундинскую степь, выгрузиться в чистом поле прямо на снег и через неделю давать фронту снаряды, мины, бомбы, начать производство орудий, противотанковых ружей. Нет, такого еще мировая история не знала”. Леонов говорил об этом так, что было ясно – он не отложит пера и не успокоится, пока не свершит свое предназначенье.

Тема протитворства добра и зла – главная в леоновском творчестве. В нем давно уже выросло понимание сил зла. Тех сил, которые умно и тонко расставили свои силки и оплели паутиной своекорыстной выгоды весь мир. “Евреи – великая нация, – второй раз за время беседы произнес Леонов. – Если они победят, то они устроят такой фашизм, который трудно даже представить”. Россию они облапошили, нет слов, но вот смогут ли окончательно низвести ее – это вопрос другой. Здесь все зависит от всех нас, от того, как все мы и каждый в отдельности свой “фронт” держим.

Вчера уже в конце разговора, когда Леонид Максимович провожал меня, он, глядя на иллюстрацию к “Соти” и на акварель “Ямщика” Кардовского, вспомнил Дмитрия Николаевича и как-то даже оттаял душой. Кардовского он очень любит и тепло вспоминает наряду с Фалилеевым и Остроуховым. В прихожей у Леонова висит акварель, написанная женой Фалилеева. На ней изображен молодой Леонов за работой в кабинете, устроенном в мастерской Фалилеева. Леонов подошел к акварели и показал мне:

– А вон там, за окном, еле видно французское посольство (бывший дом Игумнова). Дом, где была мастерская Фалилеева, не сохранился. На этом месте стоит новое здание, нижний этаж которого занимает салон Художественного фонда РСФСР. Когда иду по Третьяковской или Дрезденской галерее, – продолжал Леонид Максимович, – то, рассматривая картины, всегда прикидываю – что бы из увиденного я взял для себя. Например, Репина “Иван Грозный убивает сына” – не взял бы, а вот Боровиковского, Левитана, Остроухова повесил бы у себя в комнате.

Леонов очень любит Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого). У него в кабинете стоит, прислоненная к спинке кресла (напротив письменного стола), большая двухсторонняя репродукция с изображением “Битвы Карнавала и Поста” (1559, Вена, Художественно-исторический музей) и “Переписи в Вифлееме” (1566, Брюссель, Музей изящных искусств). Репродукции хорошие, но Леонов больше любит “Охотников на снегу” (1565, Вена, Художественно-исторический музей). Леонид Максимович подвел меня к шкафу, где хранятся зарубежные издания его произведений, и показал обложку одной из книг, которая была украшена брейгелевскими “Охотниками”.

– Брейгель – один из самых моих любимых художников, – сказал Леонов, как-то привычно для него подчеркнув букву “о” в фамилии нидерландца.

Говоря о Рембрандте, Леонов заметил, что ему не особенно нравятся приземистые фигуры в офортах великого мастера. Он признает достоинство портретов Рембрандта, но не может сказать, что их любит, так же как картины, где изображены персонажи в старинных шлемах. Но зато “Возвращение блудного сына” — одна из самых любимых им картин.

— Это действительно одна из вершин в мировом искусстве. Сколько в ней добра и любви, сколько недосказанности! Каков старик, стоящий с правой стороны, а!

Чувствовалось, что Леонов долго и пристально, в течение многих лет любовался и восхищался этой картиной. К ней он не раз возвращался, когда писал своих героев.

— Кстати, Рембрандт еврей? — вдруг спросил Леонов.

— Думаю, что нет, — ответил я.

Леонов выслушал мои доводы. Мне показалось, что его давно занимает этот вопрос.

— Непонятно, почему Распутин написал предисловие к (творению Евтушенко, — совершенно неожиданно повернул разговор Леонов.

Я понял, что Леонида Максимовича сильно занимает вопрос: каков “второй эшелон” русской советской литературы. Среди талантливых он назвал Астафьева, Распутина, Белова, Солоухина, он уверен, что они настоящие бойцы, но хватит ли у них стойкости и пороху? То, что они не дерзают взяться за широкое эпическое полотно, — не просто увлечение иными жанрами. Это происходит прежде всего оттого, что ноша им не по плечу. На такое решиться — все равно что принять схиму в молодые, цветущие годы, не просто монашеский постриг, а именно схиму.

— В 1925 году я с одним инженером, имея на руках рекомендательное письмо, — рассказал Леонов, — приехал в Параклитову пустынь недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Из пяти дней, проведенных в пустыни, я не менее 48 часов простоял за разными службами в церкви. Только ляжешь отдохнуть — вежливый стук в дверь: батюшка просит в церковь на службу. С непривычки устал от служб так, что, бывало, стоишь где-либо в уголке, опершись о свечной ящик, а монашек подходит и говорит: “Вижу, вам здесь неудобно”. И поставит в самый центр церкви. Я хотел встречи с каким-либо ярким человеком, а мне рекомендовали монаха-схимника в собеседники. Я ему задал два вопроса и вижу, что третьего не стоит задавать. Он все отвечает правильно по Катехизису Филарета, а мне другого хотелось, нечто особенного, мечталось о старце Зосиме. Нет, такие редко встречаются. Те же, которые составляют ядро веры, — они не мудрствуют. Они веруют слово в слово, как в Библии написано, и сомнения их ни в чем не берет. Вот того гладкого московского архиерея (А. И. Введенский?), у которого я видел в кабинете картинку Фрагонара, того сомнение взять может... На станцию меня вез в тарантасе по грязной, раскисшей от снега дороге молодой монашек с круглым прыщавым лицом. “Что, — говорю, — трудно бывает весной, когда жизнь повсюду пробуждается? А ты ведь молодой”. — “Да что и говорить, трудно бывает”. — “Ну и как же ты справляешься с собой?” — “Да так и справляюсь. Пойду к духовнику. Он поговорит со мной и с души всю пень так и снимет”.

Леонов любит говорить иносказательно. Сказанное им надо уметь правильно прилагать к жизни, к проблемам, которые он затрагивает в беседах. Так и вчера мы говорили о многом, а выходило одно: “За Россию надо стоять насмерть”.

27 мая 1984 г.

Позвонил Л. М. Леонов, пригласил в гости. В 18.50 я был у него, и мы проговорили до 22.30. Накануне, 24 мая, я отослал ему письмо с рассказом о слепой ясновидящей Пелагее Лобачевой и думал, что его это письмо и толкнуло позвонить мне. Оказывается, ему просто захотелось поговорить.

— Ну что в мире нового? — спросил Леонов, когда мы прошли в кабинет и сели в кресла: я — в свое, у двери, он — в свое под двумя этюдами В. О. Кирикова.

— Самая большая новость — это то, что святые живут среди нас, — ответил я, нарушив паузу.

— Как вы сказали? — переспросил Леонов.

Я рассказал, что, приехав в Захарово на открытие галереи, мы с А. П. Орловым первым делом пошли на кладбище помянуть его родителей и крестную мать — целительницу и прорицательницу Пелагею. Я никогда не видел столько цветов на сельском кладбище, сколько их было в Захарове. И пока мы стояли на погосте, люди с цветами, кутьей, конфетами все подходили и подходили. Как оказалось, Пелагея — местночтимая святая. Церковью она пока еще не прославлена, но народ ее давно причислил к лику святых. Скольких людей она исцелила, вернула к жизни! Самых немощных больных, от которых отказывались даже многоопытные врачи. Пелагея, бывало, перекрестит, прочтет молитву, и человек поправлялся. Ее известность давно перешагнула границы Рязанщины. За милосердие, бескорыстие, любовь к людям в адрес Пелагеи были сказаны добрые слова самим Патриархом всея Руси Алексием. В память об этом в семье Орловых и по сей день хранится золоченая чаша с дарственной надписью от Патриарха.

Леонид Максимович слушал, смотря как бы вдаль.

— Это верно, — сказал он. — Святые живут среди нас.

Мы помолчали.

— Ну, а еще какие новости, что в народе слышно?

Я рассказал о своей поездке из Рязани к Черному морю, выразив при этом свою нескрываемую боль, что дела в центре Руси идут из рук вон плохо: повсеместная пьянка, примитивная производительность труда, распад семей, низкая рождаемость. Не забыл упомянуть о шарашниках с Кавказа с платой 50 рублей в день. Русские при этом получают в пять раз меньше.

— Да еще эта нелепая затея с “поворотом” северных рек, — в сердцах подытожил я.

У Л. М. на этот счет свои соображения. Он считает, что все заведомо идет к развалу России.

— Как это они там, наверху, не понимают, что русский народ — главный подшильник, на котором “крутится” вся советская власть, — с горечью сказал Леонов.

Накинув пиджак на плечи, Л. М. пригласил прогуляться по Тверскому бульвару. Мы прошли мимо церкви Большое Вознесение, дома Рябушинского — Горького. Проходя мимо окон кабинета Алексея Максимовича, Леонов еще раз напомнил, что здесь в 1931 году Горький представил его Сталину. Это представление на самом высоком уровне спасло ему позже жизнь.

Гуляя по бульвару, Леонов все время говорил о готовящейся войне, о последствиях ее. Его очень беспокоит наша медлительность и неразворотливость в делах экономики. На своем опыте он знает, что работающая, динамично развивающаяся Япония спит и видит, чтобы урвать у России Дальний Восток. Их на “колбасе” (словечко Л. М.) 120 миллионов, а население Сибири — едва ли 30 миллионов наберется. Он рассказывал, как японцы массированно “атаковали” его насчет концессий во время поездки в Японию в 1963 году.

Мы сели на лавочку около 200-летнего дуба на бульваре. Напротив нас в глубине был дом. Леонов указал мне на дверь на первом этаже справа.

— Три ступеньки вниз — и вы попадаете в квартиру Всеволода Иванова, — сказал Леонид Максимович. — В свое время я там часто бывал.

— В 1925 году, — продолжал Леонид Максимович, — в день прощания Москвы с Есениным, я стоял у гроба вместе с Сергеем Буданцевым и Всеволодом Ивановым. “Кто из нас следующий?” — спросил я у Буданцева. Тот ответил: “Всеволод”.

Иванов в то время спивался. Его “зацепила” бывшая жена Бабеля — третья баба (она и сейчас еще жива). При новой жене (старая жена — учительница, милый, образованный человек, небольшая писательница — была брошена) Иванов быстро “выправился”.

Леонов стал часто бывать у Ивановых, но эта дружба плохо для него кончилась. Иванов и его жена поссорили Леонова с Горьким.

Я спросил у Леонида Максимовича, что еще, кроме “Бронепоезда”, есть у Иванова.

— Есть романы, но они не печатаются. На чем построен “Бронепоезд”? — вдруг спросил Леонид Максимович. И сам ответил: — До революции, если машинист видел на рельсах человека, он обязан был остановить поезд. Но ведь капитан Невзеласов не из тех, кто остановит бронепоезд из-за какого-то китаецца. Он и через весь Китай проехал бы на бронепоезде.

(Замечу, что мне довелось в 1960-х годах встретить в слободе рядом с Пафнутьево-Боровским монастырем мужика, дружившего и бражничавшего с Вс. Ивановым. У этого мужика был талант – прекрасный голос, бас. Он пел на клиросе, играл на гитаре. Представляю, как им было хорошо и сладко погулять, порыбачить и попеть с Вс. Ивановым.)

Мне почему-то Вс. Иванов кажется веселым, неунывающим, широкой русской души человеком – таким, каким он и выглядит на скульптуре Сары Лебедевой.

Леонида Максимовича разгульным и хмельным я как-то не представляю себе. Мне кажется, Леонов с молодости был человеком внутренне сосредоточенным. В нем есть что-то аскетическое, монашеское, если не сказать больше – схимническое. В этом он чем-то и внешне походит на Достоевского – всегда в себе.

Я попросил Леонида Максимовича, когда мы собрались уходить со скамейки на бульваре у 200-летнего дуба, рассказать о встречах с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым.

– Мы познакомились у Волошина на даче в Коктебеле в 1925 году. В тот же год у нас образовался кружок, чтобы читать друг другу свои произведения (писателю надо иногда проверить свою работу чтением вслух). Кроме нас с Булгаковым был еще писатель (Князев?). Он пригласил на чтение незнакомого нам литератора. И вот, когда все расселись, незнакомого литератора вдруг заявил: “Прежде чем начнем читать друг другу свои произведения, давайте выясним политическую платформу каждого”. Больше мы не собирались, – улынулся Леонов.

– А с Маяковским вы были знакомы? – спросил я Леонида Максимовича.

– По-моему, я с ним и не поздоровался ни разу, – ответил Леонов.

– А с Алексеем Николаевичем Толстым встречались? – допытывался я.

– Ну как же!.. Однажды у Лидина сидели, выпивали. Вдруг Алексей Толстой встает и ни с того, ни с сего предлагает тост: “Давайте выпьем за здоровье замечательного человека и большевика Михаила Ивановича Калинина”. А я говорю Толстому: “Как вы думаете, кто из нас должен будет доложить Калинин, что мы пили за его здоровье?” Толстой тогда говорит: “Ох и злой ты, Леонов”.

Проходя мимо Театра им. А. С. Пушкина, Л. М. вспомнил, как Давыдов – судебный деятель Москвы прошлого века, рассказывал тестю Леонова, Михаилу Васильевичу Сабашникову, о встрече на этом месте в день открытия памятника Пушкину Достоевского и Тургенева. Увидев Достоевского, сидящего на лавочке, Тургенев несколько писклявым голосом воскликнул: “Федор Михайлович, вот вы где! Рад вас видеть”. На что Достоевский, недовольный, буркнул: “От вас нигде не скроешься”, – и ушел в глубь бульвара. Давыдов был свидетелем этой встречи двух писателей и рассказал о ней М. В. Сабашникову, а тот Леонову. Я же счел своим долгом записать рассказанное.

На обратном пути Л. М. Леонов рассказывал о взаимоотношениях Достоевского и Тургенева, когда тот дал взаймы проигравшемуся Достоевскому, а потом забыл, сколько дал и по записке велел подателю ее вернуть сумму вдвое большую. “Что, он не знал материального состояния Достоевского?” – с укором сказал Леонов.

Л. М. говорил, что он ставит творчество Достоевского выше не только Тургенева, но и Толстого, о чем он в свое время написал в статье в журнале “XX век и мир”.

Мы пришли домой и вдвоем пили чай. Леонов рассказывал, что в связи с его 85-летием в Ленинграде и Москве прошли двухдневные научные конференции по его творчеству. Ни на одном из заседаний Леонов не был, но послал приветствие участникам конференций.

– Я строго отношусь к своей работе, – сказал Леонов. – Меня почти ничего не устраивает из написанного мною. Я “Вора” выпустил в 1927 году. Его хвалил Горький, сразу же перевели на немецкий и английский языки. Спустя 30 лет я взял “Вора” и начал править. Думал управиться за полтора месяца, а просидел полтора года, пока весь роман не переписал.

Я выразил недоумение, как можно писателю, у которого вызрели новые образы и просятся на бумагу, не пускать их, а заниматься по второму разу уже сделанной работой.

– Представьте себе, – сказал Леонов, – что вы сели на конфету, раздавили ее, и она прилипла к вашим брюкам. Под пиджаком конфеты не видно,

но вы-то знаете, что конфета раздавлена и прилипла. Вот вы ее и сдираете с брюк. Так у меня происходит с написанным. Чистый лист бумаги — это потенциально гениальная рукопись. Когда этот лист исписан, то сразу же видно, насколько несовершенно ваше писание, — заключил Леонид Максимович.

Я сказал Леонову, что “Evgenia Ivanovna”, с моей точки зрения, совершенная вещь и уж ее-то, наверное, он не станет больше трогать.

Леонов не стал настаивать на переделке повести, но чувствовалось, что, возьмись он за нее, снова стал бы “точить и точить”.

— С “Evgenia Ivanovna” я не расставался долго-долго, а началась эта любовь в 1934 году, — рассказал Леонов. — Мы с Татьяной Михайловной в тот год путешествовали по Грузии. И вот однажды в Тбилиси мы зашли в один из духанов поужинать. Через столик от нас сидел человек в шляпе вроде тирольской и в коричневых крагах. Он у меня и стал Стратоновым. Все остальное я выдумал. В 1938 году я закончил повесть, но не отдал ее и еще трижды правил рукопись.

На письменном столе у Леонова лежала рукопись нового романа. Кивнув на стол, я спросил, как движется работа.

— Так себе, — ответил Леонид Максимович. — При жизни я, наверное, и не увижу отпечатанной эту книгу. А знаете, сколько я над ней работаю? — спросил он. — Задумал я этот роман в 1938 году, но тогда мало что сделал. Потом война, “Нашествие”... В 1948 году написал пять листов, отложил, начал “Русский лес”. Его закончил, написал к пяти переписанным местам еще полтора листа... Потом заканчивал “Evgenia Ivanovna” и еще работал. Так с перерывами исписал вот такую стопу бумаги, — Леонов показал на руках тридцатисантиметровую кипу бумаги, махнул руками, как бы забрасывая ее в стол, и сказал: Достоевский иногда даже забывал сюжет своих произведений, а я помню в своем романе все до мельчайших деталей и вот теперь по памяти возобновляю написанное, не заглядывая в него.

В свои 85 лет Леонов не выглядит дряблым. Я верю, что он все помнит в своем романе и главу за главой переписывает набело. Судя по его характеру, эту работу он будет продолжать до последнего предела... Такие, как Леонов, не отступают.

Мы ужинали, пили чай. Леонов съел несколько кусочков жареной картошки, меня потчевал тортом, а сам съел лишь хрустящие взбитые сливки в виде зефирин. Жирное он не ест, так как знает, чем это ему грозит. Он не дрожит за свое здоровье, а любит работу и ради того, чтобы работать, готов на все ограничения в быту. Живет он по монастырскому уставу — душа трудится нескончаемо.

Мы смотрели телепередачу “Встречи с Евгением Евстигнеевым”, которую вел Сергей Юрский. Леонов смотрел саркастически, отпуская колкие замечания, и, не выдержав, переключил программу, где показывали синхронные прыжки спортсменов на батуте.

10 июня 1984 г.

— Шерешеры... Вот держите. — И Петр Дмитриевич протянул мне маленький, размером в детский кулак, глиняный горшочек с узким и коротким горлышком. По словам Барановского, в горшочек заливали специальную горючую смесь и затыкали паклей. Затем, вставив стрелу в горлышко, зажигали паклю и стреляли из лука в стан врага.

— Так это же знаменитый “греческий огонь”, которым греки сжигали корабли противников!

— “Греческий огонь”, но применяемый “посухо”, как сказано в “Слове”. — И Петр Дмитриевич положил горшочек на книжную полку, где было еще несколько “шерешир”, но другой формы.

— Откуда у вас это? — спросил я.

— Из раскопок. Горшочек, который я вам показывал, найден мною при обследовании фундаментов церкви Михаила Архангела в Смоленске. Эта церковь, кстати, выстроена по повелению князя Давыда Ростиславича Смоленского, того самого, который упоминается в “Слове”. Строил ее гениальный зодчий Древней Руси Петр Милонег. В скобках замечу, — сказал Барановский, — Петр Милонег — мой любимый зодчий, имя которого достойно стоять в одном ряду с именами великих современников, автором “Слова”.

Помню, как мы — группа экскурсантов во главе с П. Д. Барановским — приехали в родной его Смоленск, а оттуда в Талашкино. Здесь бывали

И. Е. Репин, М. А. Врубель, С. В. Малютин, В. М. Васнецов, В. Д. Поленов, Н. К. Рерих. Они помогли хозяйке Талашкина М. К. Тенишевой в благородном ее начинании – возрождении кустарных народных промыслов, сами много и плодотворно работали.

За разговорами о “Слове”, о возрождении народных традиций в искусстве, о наметившемся росте национального самосознания мы неспешно пришли к церкви Святого Духа, украшенной знаменитой мозаикой Н. К. Рериха “Спас Нерукотворный”. Выждав, когда яркий взгляд “Спаса” проник в каждого из нас, Барановский с чувством и с толком прочитал слова Рериха, запись которых хранится в талашкинском музее “Теремок”: “Из древних чудесных камней сложите ступени Грядущего”.

– Пророческие слова! – сказал Петр Дмитриевич. – Памятники Отечества – это святыни, без которых нет доступа нам в будущее.

В памяти осталась и другая поездка с П. Д. Барановским – в Киев. С этим городом у него было связано многое. Он предлагал сразу же после освобождения Киева от фашистов восстановить Успенский собор Киево-Печерской лавры. Тогда к нему не прислушались. Нашли причины отказаться от его проекта реставрации. Кончилось тем, что бульдозерами расчистили руины Успенского собора, смели в отвал смальту от мозаик и остатки древних фресок. Однако поторопились. Теперь в этом все убедились. Супруги-реставраторы Грековы восстановили разрушенную фашистами церковь Спаса на Ковалеве в Новгороде и спасли фрески, пролежавшие в сырой земле долгие годы. Мозаики и фрески Успенского собора тоже можно было спасти. Спустя сорок лет киевляне вернулись к идее Барановского. Принято решение о восстановлении собора Киево-Печерской лавры. Жаль, нет Барановского. Он сделал бы это лучше всех.

В ту нашу поездку в Киев вспомнилось еще посещение Кирилловской церкви, где в 1194 году был похоронен один из главных героев “Слова” – великий князь Святослав.

Мы вошли под своды храма, помолчали.

– Видите, – указал Петр Дмитриевич на фреску, – это Ангел свивает небо. Все разом, обе половины... Этот образ, думается, имел в виду и автор “Слова”, когда писал: “О Боян, соловей старого времени! Вот бы ты походы эти воспел... летая умом под облаками, свивал славу обеих половин этого времени...”

На долю П. Д. Барановского (а прожил он девяносто два года) выпало “свивать славу обеих половин” нашего яростного, порубежного века. В 1912 году за проект реставрации собора Болдина монастыря под Дорогобужем, построенного великим зодчим Федором Конем, выпускник Московского строительного-технического училища двадцатилетний крестьянский сын Петр Барановский был награжден золотой медалью Русского археологического общества. Потом была служба помощником архитектора на Тульском чугуноплавильном заводе, в Управлении строительства Среднеазиатской железной дороги в Ашхабаде и одновременно учеба на искусствоведческом факультете Московского археологического института. Не миновала Барановского и Первая мировая война. Он был мобилизован в 3-ю инженерную дружину и служил начальником команды, строившей укрепления на Западном фронте. В этой должности П. Д. Барановский встретил Октябрьскую революцию. Почти вся 3-я инженерная дружина самовольно разъехалась по домам, а он опломбировал склады и стал охранять их. Такой уж он был человек – преданный делу до конца. Вскоре прибыли представители советской власти, и он передал им спасенные от разграбления склады.

Весной 1918 года П. Д. Барановский, с золотой медалью закончив институт, получил диплом историка архитектуры и был рекомендован известными учеными В. К. Клейном и В. А. Городцовым для педагогической работы. За несколько месяцев Барановский написал диссертацию о памятниках Болдина монастыря. Учитывая важность научных открытий, ему было присвоено профессорское звание, он был избран членом-корреспондентом Всероссийской академии истории материальной культуры, позднее упраздненной.

В конце 1918 года началось восстановление памятников ярославского Спасо-Преображенского монастыря, разрушенных во время белозсеровского мятежа. Это были памятники того самого монастыря, где было найдено “Слово о полку Игореве”! Руководить реставрацией назначили профессора в солдатской

шинели П. Д. Барановского. С тех пор он постоянно находился на передовой по изучению и реставрации памятников Отечества.

Три пуда соли. Именно столько смог взять ее с собой молодой профессор Барановский, отправляясь в 1921 году в экспедицию по реке Пинега и ее притокам. Деньги в то время на Севере ничего не стоили. На соль можно было выменять хлеб, нанять подводку или лодку, рассчитаться с рабочими.

– Дождался я лета и поехал, – рассказывал Петр Дмитриевич. – Один поехал. Специально подгадал под очередной отпуск и поехал, как заядлый охотник. Мне предстояло “настрелять” такой “дичи”, какой кабинетные специалисты по архитектуре еще и в глаза не видели.

Петр Дмитриевич снял со стеллажа объемистую папку с материалами Выйско-Пинежской экспедиции. Достав карту Архангельской области, он показал отмеченные красным карандашом пункты остановок: Пинега, Вонга, Поча, Чакола, Пиринема, Кеврола, Чухченема, Сура, Выя.

– В то время меня больше всего интересовали деревянные шатровые храмы, своего рода “предтечи” каменной церкви Вознесения в Коломенском, о которой летописец сказал: “Бе же та церковь вельми чудна высотой, и красотой, и светлостью”. В прибрежных селах по Пинеге, – продолжал Барановский, – оказалось столько церквей “чудных вельми”, что я решил во что бы то ни стало пройти по реке до самых верховьев. Приезжаешь в село, а там – двести шатровые церкви-красавицы, трехэтажные дома-хоромы, мельницы-крепости – и все это шедевры зодчества. Строили северяне так, чтобы самим всю жизнь красотой любоваться и чтобы внукам завет оставить.

Перед нами лежали пожелтевшие от времени фотографии и листы бумаги, на которых вычерчены в масштабе дома и поражающие своим разнообразием резные крылечки – гордость и “визитная карточка” каждого хозяина.

– А это крыльцо мне особенно понравилось, – говорит Барановский. – Я даже сделал макет в 1:10 натуральной величины.

– Крыльцо-то у вас из кедровых палочек, а ведь на Севере кедра нет, – заметил я.

– Был у меня такой период в жизни – “сибирский”. Времени было предостаточно, вот я и смастерил это крыльцо, – ответил Петр Дмитриевич и, чтобы переменить тему, достал большой конверт с рисунками резных украшений колодезных журавлей. – Более двух десятков я их тогда зарисовал и еще столько же коньков крыш. Наиболее часто встречающиеся изображения на столбах колодцев и коньках крыш – голова коня или петух – образы красного солнышка, отзвуки языческих верований наших предков.

– А на этом конверте у вас почему-то стоят три восклицательных знака, – обратился я к хозяину.

– Здесь у меня хранятся особо важные документы. Памятника этого уже нет, но точные научные обмеры сохранились. Две недели я трудился над ними. Выйский шатровый храм – неповторимое явление во всем мировом деревянном зодчестве.

П. Д. Барановский обмерил, вычертил и сфотографировал выйский храм во всех деталях. Теперь, когда этот уникальный памятник по невежеству местных властей уничтожен, остается надежда на его грядущую “реабилитацию” и воссоздание вновь по материалам Выйско-Пинежской экспедиции.

– Тяжело сознавать, что потомки тех, кто своими мозолистыми руками воздвиг это чудо света, сами порушили славу своих пращуров. – Петр Дмитриевич достает письмо очевидца, на глазах которого канатами зацепили за главу храма и трактора повалили в обрыв исполина, простоявшего на русской земле три с половиной века. – Под карнизом кровли выйского храма, – продолжал Барановский, – была вырезана красивыми буквами надпись. Расстояние с земли до нее – около пятнадцати метров. Разобрать буквы я не мог, а прочесть обязательно надо было.

– Неужели пришлось строить леса?

– Какие там леса! У меня времени было в обрез. Вместе с двумя мужиками я залез по специальным выступам внутри шатра до самой главы. Там мужики обвязали меня веревкой и через люк, как с горки, спустили по скату шатра. Топором я отбил доски с надписью, и меня с ними спустили на землю. А когда снял прорись с надписи, меня мужики снова подняли, и я водрузил доски на место.

Петр Дмитриевич развернул длинный ряд склеенных листов бумаги. Любуюсь резной надписью, которая сама по себе произведение искусства, мы прочитали: “Лета 7108 (1600) августа в 6 день поставлен бысть сей храм церковь во имя пророка Ильи при государе царе и великом князе всея Руси Борисе Феодоровиче, сыне его Феодоре и патриархе Иове”.

– А потом, – сказал Петр Дмитриевич, – когда я обмерил выйский храм и снял эту прорись, был трудный путь домой.

Бережно я взял из папки переломленную надвое старую фотографию, на которой мой хозяин, чем-то похожий на героев Джека Лондона, стоит у лодки, загруженной экспедиционными материалами.

– Вот в этой лодке, – рассказал Петр Дмитриевич, – мы проделали весь путь до села Пинега, где я сел на последний пароход, уходивший на зимовку в Архангельск. Страшно даже вспомнить то путешествие. Мой проводник, местный житель, согласившийся за пуд соли быть кормчим, долго, видно, потом вспоминал меня. Поездка эта нам обоим чуть не стоила жизни. Вначале плыли хорошо. Потом ударили холода. Плыть стало трудно. Светлого времени было мало, и мы все время рисковали разбиться на порогах, где нашу лодку кидало, словно перышко. За долгий путь мы совсем обессилели. Пинега к устью стала широкой. Деревень на берегу не было видно, и нам негде было обогреться и пополнить съестные припасы. Да еще беда – стали мучить нас галлюцинации. Однажды к вечеру плывем, а впереди высокий крутой берег. Голодные, глаза слипаются от усталости, сами окоченели от холода. И вдруг мне почудились огни деревни впереди. “Гляди, – толкаю я своего кормчего, – деревня!” Тот напряженно взгляделся и заревел от радости. Ломая прибрежный лед, мы с трудом пристали к берегу. Выскочили из лодки и, перегоняя друг друга, бросились вперед. Бежим, оглашая лес треском сучьев, а огни все дальше и дальше уходят от нас. Понял я тогда, что это обман зрения. В лесу мы могли потеряться и замерзнуть. Собрал я остатки сил и еле смог уговорить моего обезумевшего спутника вернуться назад. У него совсем уже не было сил. Мне пришлось погрузить его, как куль, на дно лодки, устланное медвежьими шкурами, и плыть вперед. Эту ночь я никогда не забуду. Приплыли мы в Пинегу с последним гудком парохода, отдавшего швартовые. Казалось, больше на Север меня не заманишь никакими калачами. Однако все в жизни пропорционально интересу. Не утерпел я и на будущий год опять поехал в экспедицию по северным деревням. Ничего не знаю чудеснее русской деревянной архитектуры! – закончил свой рассказ Петр Дмитриевич.

22 июля 1984 г.

Сорокоуст по П. Д. Барановскому

ГРАЖДАНИН ОТЕЧЕСТВА

Прошлое смотрит на нас...

Леонид Леонов

Есть люди особого рода. Имя им – подвижники. Они скромно свершают свой подвиг длиною в жизнь. Иногда их знают только специалисты. Широкому кругу соотечественников до поры до времени они неизвестны. Но пробивает урочный час, имя подвижника воскресает из небытия как знамя. Его жизнь и деяния во славу Отечества являют собой пример для подражания, особенно для подрастающего поколения.

В давнюю мою бытность сотрудником Министерства культуры СССР случай свел меня с архитектором-реставратором П. Д. Барановским. Ему тогда исполнилось семьдесят лет, и реставрационная мастерская, где он работал, представила его к присвоению почетного звания “Заслуженный деятель искусств РСФСР”. Петр Дмитриевич принес в министерство автобиографию, фотокарточку, листок по учету кадров и список творческих трудов. Старший инспектор отдела кадров, подполковник авиации в отставке, полистал документы Барановского и безапелляционно заявил:

– Какое вам может быть звание? Вы всю жизнь церкви реставрировали.

Продолжать разговор было бессмысленно. Петр Дмитриевич положил бумаги в потертый портфель с ручкой, оплетенной синей изоляционной лентой, и вышел. Мне было стыдно за моего коллегу, но служебная этика не позволяла встречать в разговор. Тем более что бывший подполковник был еще и быв-

шим мужем министра. Прямым заступничеством можно было испортить все дело. Я вышел из кабинета и побежал в гардероб. Петр Дмитриевич неспешно надевал свой темно-серый демисезон, в котором он выглядел скорее мастеровым, но никак не профессором, выдающимся ученым. Извинившись, я попросил его отдать мне принесенные документы. Расчет мой был простой. Бывший подполковник частенько прихварывал. Я надеялся в его отсутствие заготовить необходимые бумаги и подписать у начальства. В то время я учился в МГУ и знал, что П. Д. Барановский приступил к реставрации Крутицкого подворья в Москве. Знал я и другое – что человек он прямой и у него много недоброжелателей. Звание ему нужно было не корысти ради, а как щит от несведущих людей, а то и заведомых врагов.

Звание Петру Дмитриевичу все-таки присвоили. Последние двадцать лет жизни он охотно ставил свою подпись в защиту памятников Отечества на прошениях, где нужен был высокий ранг челообитчиков. Что касается личной выгоды, то Барановский никогда ее не искал. Его девизом были слова Гоголя: “Призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны”. И еще: “Леность бо всему мати” – это из “Поучения” Владимира Мономаха.

Несмотря на огромную разницу в возрасте, мы подружились с Петром Дмитриевичем, и я стал бывать у него дома. Он жил с женой – Марией Юрьевной в маленькой коммунальной квартире в бывших больничных палатах Новодевичьего монастыря. Мария Юрьевна относилась ко мне тепло, по-матерински. Она была известным ученым, специалистом по декабристам и крупнейшим знатоком московских некрополей. На ее долю пришлось нелегкий и скорбный труд быть секретарем комиссии по эксгумации и переносу могил Н. В. Гоголя, Н. М. Языкова, А. С. Хомякова, С. Т. и К. С. Аксаковых, Д. В. Веневитинова и многих других, кому не повезло в 1930-е годы. Это она тогда записала, что корень березы, посаженной над могилой Веневитинова в Симоновом монастыре, пророс через сердце поэта. Ею был передан в Литературный музей перстень с руки Веневитинова. Найденный при раскопках Геркуланума, этот античный перстень был подарен поэту Зинаидой Волконской. Принимая подарок, Веневитинов сказал, что наденет перстень, только когда будет жениться или когда будет умирать. Овеянный легендой перстень поэта экспонируется сейчас в Литературном музее, что в Нарышкинских палатах на Петровке.

П. Д. и М. Ю. Барановские были моими духовными наставниками. Однако это наставничество не носило характер “послушания”, хотя мои “духовники” и жили на территории монастыря. В тихой “келье” Барановского мне чаще приходилось слышать не акафисты, а анафемы. Нередко я узнавал здесь такие факты из нашей недавней истории, что доверять памяти не решался и, придя домой, подробно записывал содержание бесед. С годами составила целая книга, в которую вошли беседы с Барановским, их друзьями и знакомыми – академиком П. Д. Коринным, инженером В. П. Тыдманом, художницей Е. В. Гольдингер, архитектором-реставратором Л. И. Антроповым, известным собирателем Ф. Е. Вишневским, подарившим Москве музей В. А. Тропинина.

Вспоминаю литературные “среды” у П. Д. Барановского. Хозяин любил и читал по памяти большие отрывки из “Слова о законе и благодати” митрополита Илариона, “Поучения” Владимира Мономаха, “Слова Кирилла Туровского в новую неделю после Пасхи”, “Моления Даниила Заточника”. Книгой книг для Петра Дмитриевича было “Слово о полку Игореве”, которое он знал наизусть. Для меня чтение Петром Дмитриевичем “Слова” каждый раз было откровением.

– “Великий княже Всеволоде!.. Ты бо можеша Волгу веслы раскропяти, а Дон шеломы выльяти. . . Ты бо можеша посуху живыми шерешеры стреляти, удалыми сыны Глебовы”.

Петр Дмитриевич прервал чтение “Слова” и спросил меня:

– Что такое “шерешеры”?

Я ответил, что академик Д. С. Лихачев в своих примечаниях к “Слову” точного определения “шерешер” не дает. Он предполагает, что “шерешеры” происходят от греческого слова, означающего “копье”.

Есть основания полагать, как считал П. Д. Барановский, что деревянное шатровое зодчество было на Руси еще в дохристианскую пору. После крещения Руси в 988 году архитектурные сооружения, где помещались языческие жертвенники, очевидно, не всегда уничтожались. Ведь это было неразумно, если учесть трудности всякого строительства в ту пору. Достаточно было унич-

тожить самих идолов, освятить помещение и поставить на нем символ новой веры – крест. Возможно, этим и объясняется вращение в новую христианскую культуру старых типов архитектурных сооружений. Изображение шатровых церквей встречается в глубокой древности – в одной из псковских рукописей XII века и на ряде икон XIV века. На Севере “шатры” были распространены повсеместно – от Кольского полуострова и до Аляски.

В середине XVII века при патриархе Никоне вышел строгий указ шатровых церквей не строить. Патриарх усматривал в этом отход от буквы древнего православия: дескать, Византия шатровых церквей не знала. Никон предписал строить только пятиглавые церкви, символизирующие Христа и четырех евангелистов. Северных земель, отдаленных от Москвы, этот патриарший указ практически не коснулся. Там народ вплоть до XX века продолжал строить “по пригожеву, как мера и красота скажет”, как строили их отцы и деды.

Испокон веку лес был для русских людей подлинной стихией. Океан русского леса составляет почти треть лесных просторов мира. С ним была связана вся жизнь русского человека. Он его кормил, одевал, обувал. Недаром народная пословица говорит: “Возле леса жить – голода не видеть”.

Русский человек рождался в рубленой бревенчатой избе. Еще лежа в деревянной зыбке, он слышал, как шумит лес за окном, точно волны прибоя. С радостью первого открытия присматривался он к игре света на прожилках досок соснового потолка дома, на золотистые капли смолы, стекавшие с бревен. Первые игрушки, которые он брал из рук родителей, тоже были из дерева. Впервые севши за стол, он и на нем видел деревянные изделия – чашки, ложки, солоницы, кружки. А едва овладев грамотой, он, беря хлеб с деревянного блюда, по слогам читал слова, вырезанные по кромке хлебницы: “Хлеб-соль ешь, а правду режь”.

Взявшись за работу, русский человек всю жизнь имел дело с деревом: корчевал лес под пахотный клин, гнал смолу, выжигал уголь, заготавливал дрова, драл лыко. “Кабы не лыко да береста, и мужик бы развалился”, – говорит пословица. Лес был основой народных промыслов. И поэтому права поговорка про мужика: “Летом он рыбачит, а зимой бурачит”, занимается ремеслом, что в науке именуется термином “прикладное искусство”. Прикладным оно называется оттого, что человек приложил к вещам, вышедшим из-под его рук, свое сердце, душу, свою любовь и заставил их жить.

Русский лес наложил свою твердую печать на характер нации. Он приучал человека к борению, выковывал терпение и упорство. Но не только твердость характера формировал лес. Понятие о прекрасном, поэтичность нации, патриотизм – они тоже во многом обязаны русскому лесу, родной стороне. Кому не знаком запах свежераспиленного леса? И так же, как мы, с жадностью вдыхали и чувствовали прелесть его наши предки. В дальней чужой стороне и нам, и пращурам нашим не раз снился милый отчий лесной край.

*Я еще вернусь к тебе, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой моих отцов.*

Эти стихи сложил безвестный русский человек XX века. Они написаны в фашистском застенке. Сколько лет ему было, сколько осталось жить? В час последнего испытания, когда смерть стоит у порога, человек говорит только заветное. А заветной для него оставалась любовь к Родине, к ее просторам, рекам голубым, и ему чудился шум ее лесов.

Добро, любовь и красота – времен связующая нить. Этими качествами наделено все то, что выдержало испытание временем – былины и баллады, песни и сказки, прекрасные творения рук и души человеческой, будь то произведения архитектуры, прикладного искусства, живопись или резные деревянные “боги” – народная скульптура. Знать, щедрой мерой таланта отмечено каждое произведение искусства, которое заставляет нас восхититься им. Вложив в него душу и сердце свое, человек заставил его излучать очарование и любовь. И чем талантливей был мастер, тем дольше живет творение его. Так было и так будет. Всегда.

Красота целого была главным критерием русских зодчих-древделов. Успех сопутствовал тем, кто в каждое новое сооружение приносил “живинку”,

творчество. Заказчики не стесняли мастеров мелкой опекой. Для них был важен конечный результат, чтобы все было сделано “самым добрым гладким мастерством”, как говорится, в одной порядной записи.

Вдосталь порядившись и придя к согласию, плотники брались за топоры. Топор был универсальным инструментом русских древоделов. Им он остается и по сию пору, ибо каждый северянин хоть немного да плотничает. Легко себе представить цену этого незамысловатого орудия в старину, когда мужик и шагу не делал без топора. Недаром в книгах зарубежных путешественников – Герберштейна и Олеария – русский мужик изображен либо с топором в руках, либо с топором за поясом. Топором мужик валил лес, ставил клетки, делал тес для пола и потолка. Не по мановению волшебной палочки, а миллионами и миллионами точных ударов тяжелого топора, от которого гудели спина и руки поколений русских древоделов, вырублены шедевры мирового искусства, принесшие России славу страны потомственных зодчих.

Церкви и жилые дома строили одни и те же люди. И все же вершиной русского деревянного зодчества по праву считают церковные строения. Как бы хорошо человек ни строил свой дом, он строил его только для себя. Иное дело сооружение храма – дома для всех. К работе “на святое дело” и относились совсем по-другому, чем к возведению амбаров и риг. Этот труд должен был “засчитываться” на Страшном суде во искупление всех земных грехов. “О Владыка Христе, Царю всех, избави нас от мук адовых!” – читаем мы надпись над церковным порталом, сделанную в последний день работы. Можно ли сомневаться, что люди, написавшие эти скупые слова, работали самозабвенно и красиво, как только поется в песнях, как рассказывается в легендах.

Срубить храм на Руси было делом не только святым, но и каким-то особым, не писанным никаким законом, соревнованием мастеров-плотников друг перед другом. Прежде чем положить под первый венец серебряную, а то и золотую монету, служили торжественный молебен при стечении всего окрестного люда. По окончании работы в храме устраивалась торжественная свадьба с хороводами, песнями. Церковь была для северян, не знавших крепостного права, праздничным дворцом. Самый бедный крестьянин во время венчания именовался князем, а невеста его – княгинюшкой. Этот день старались сделать для молодых запоминающимся. Свадьба в церкви при стечении сотни, а то и более гостей была событием, к которому относились, несмотря на веселье, исключительно серьезно. Недаром в старину разводы были редки.

Если церквей на погоде две – зимняя и летняя, то их сразу различить. Зимняя – поскромнее, поменьше. В ней служили большую часть года – с Покрова до Троицы (почти восемь месяцев) – и все это время топили. На большую храмину дров не напасешься, потому и трапезную, и сам храм не размахивали, а делали потеснее, даже потолки подшивали пониже. Иное дело – летняя церковь, просторная, украшенная, как невеста. В ней служили с Троицы, как набухнут и лопнут почки березы, и до Покрова, когда первый снежок припрошит землю. Быстро пролетает короткое северное лето. Тихие белые ночи долго потом снятся темной зимой.

Начало осени – самая красивая пора на Севере. Природа не скупится на краски. Золотом отливают скошенные валки хлеба, в багрец одеваются леса, яркими языками пламени полыхают тугие грозди рябины. Вода в озерах чистая, отливающая в солнечную погоду голубизной опрокинутого в нее безбрежного неба. Северяне любят свой край, воспетый в сказках и былинах, в росписях и иконах.

В квартире П. Д. Барановского было много картин, акварелей, рисунков, фотографий северных пейзажей. Самой дорогой реликвией была северная икона “Преображение Господне” XVII века. В верхней части иконы было изображено шествие праведников в рай. Этот рай был изображен художником с приметам Севера – река, похожая на Пинегу, на берегах – дома, рубленные “в лапу”, нивы с колосающимся хлебом, северные яркие цветы, и в небе – жаворонок. Внизу, под иконой, Петр Дмитриевич прямо на обоях процитировал древний панегирик:

*О светло-светлая и украсно украшенная Земля Русская!
И многими красотами удивлена еси...*

На рабочем столе П. Д. Барановского вместо пресса для бумаг лежал барельеф шестикрылого серафима, найденный им на развалинах Болдина

монастыря. Это была память о музее, который он создал у себя на родине и который погиб в Великую Отечественную войну.

П. Д. Барановский одним из первых в стране оценил художественную значимость деревянных “богов” и начал собирать их в Верхнем Поднепровье. В 1929 году он открыл в Болдином монастыре Музей русской деревянной скульптуры Смоленщины. Помощником Барановского в создании музея был замечательный этнограф М. И. Погодин. Фамилия эта громкая. Друг П. Д. Барановского был внуком историка, профессора Московского университета М. П. Погодина.

Созданный П. Д. Барановским и М. И. Погодиным Музей деревянной скульптуры в Болдином монастыре насчитывал более сотни первоклассных произведений народного искусства. Основу коллекции составляли деревянные боги, собранные в Дорогобужском, Рославльском, Ельнинском уездах. Среди них были шедевры, восхищавшие самых строгих ценителей искусства.

Музей в Болдинском монастыре пользовался большой популярностью у жителей окрестных сел. Приезжал подивиться деревянными богами и народ из дальних сел. Этому в немалой степени, как оказалось, способствовал хитроумный монашек-скопец, живший в сторожке при закрытом монастыре. С его помощью в музее стали происходить “чудеса”. В одну из ночей из экспозиции пропала скульптура Николы Чудотворца. Утром ее нашли в лесной часовне, откуда она ранее поступила в музей. Скульптуру при большом стечении народа водворили в музей. Через несколько дней она из-под замка “покинула” музей и вновь “обретохося” в часовне. Молва о том, что Никола не хочет быть в музее, быстро облетела весь уезд. За Николой “тронулись” в дорогу и другие скульптуры, но “чудо” было скоро разоблачено. Погодин объявил, что Барановский уехал в Смоленск. Музей был закрыт на самый большой амбарный замок и опечатан. Двое суток просидел Барановский взаперти, пока монашек не решился на совершение очередного “чуда”. Ночью он потайным ходом (в стене трапезной) проник в помещение, где была развернута экспозиция, поменял платки Параскевам, надел новые лапти на “собравшегося” в дорогу Николу. За этим занятием его и застал Петр Дмитриевич. Пришлось монашку каяться при всем честном народе.

П. Д. Барановский и М. И. Погодин прекрасно понимали, что собранная ими коллекция деревянной скульптуры имеет всемирное значение. По художественной значимости скульптура Смоленщины не уступала знаменитым “пермским богам”. Устроители Болдина музея готовили к изданию книгу о смоленской скульптуре. Война помешала осуществить их замысел. В огне пожара погибли шедевры, могущие составить славу любой национальной школе вааяния. После смерти М. И. Погодина и П. Д. Барановского каталог и фотографии деревянной скульптуры, погибшей в Болдином монастыре, поступили в архив Института истории искусств Министерства культуры СССР и ждут своего исследователя.

“Где хоронить дорогого Петра Дмитриевича?” — так заканчивалась заготовленная телеграмма, которую должны были отправить в Москву летом 1931 года участники Беломорско-Онежской экспедиции.

Дело обстояло так. Экспедиция подходила к концу. Времени оставалось мало, а в селе Пияла надо было еще обмерить, сфотографировать зарисовать ряд памятников. Петр Дмитриевич очень боялся за их судьбу, и не напрасно. Большая часть этих памятников погибла от рук не в меру ретивых инспекторов-гательей старины. Особенно тщательно Барановский делал тогда обмеры уникального пияльского собора. Оставалось сделать всего несколько замеров. Для экономии времени он решил идти не по матам потолка собора, а прямо по доскам. Только он ступил на них, весь потолок рухнул с десятиметровой высоты, так как гвозди проржавели и повыскакивали из своих гнезд. Барановский оказался под грудой толстых досок. Когда их разобрали, Петр Дмитриевич был уже бездыханен. Тогда и составили злополучную телеграмму. Но отправить ее из глухого села оказалось не так-то просто. Когда через четыре часа вернулись к Барановскому, он пришел в сознание.

— Так уж было суждено, — вспоминал Петр Дмитриевич, — это была не последняя моя экспедиция. Две недели я пролежал в медпункте села Чекуево, а как стал подниматься с постели, то непременно захотел посмотреть, что из древностей осталось в закрытом соборе. “Сходи, — говорю своему коллеге, — посмотри, что там есть полезного”. А он отвечает, что, мол, ничего там нет.

Тогда поковылял я сам. Зашел в собор — действительно пусто. Кругом грязь, птичий помет. Вижу — внизу, под всякой рухлядью, — резная доска. Вытащил я ее и ахнул. Передо мной был истинный шедевр — резная дверь XII века — экспонат, достойный украшать любой музей народного творчества.

Чекуевская находка лучше всяких припарок помогла тогда Барановскому окончательно подняться на ноги. Телеграмма о его смерти сохранилась в архиве у Петра Дмитриевича, и он воистину оправдал народное поверье, прожил после несостоявшихся похорон почти до ста лет.

Ну а что касается резной двери из села Чекуево, то она и по сей день в музее “Коломенское”. Музейные экспонаты тоже имеют свои историю. Кстати, то, что можно увидеть в Коломенском: дом Петра I из Архангельска, башню Николо-Корельского монастыря с Беломорья, башню Братского острога с Ангары, — все это было привезено и собрано Петром Дмитриевичем. Он был организатором и первым директором музея “Коломенское”. Его советчиками и помощниками в создании музея были известные люди, в 1920–1930-е годы оказавшиеся не у дел. Среди них — поэт старой Москвы художник Аполлинарий Васнецов.

Однажды к Барановскому пришла женщина и предложила взять у нее картину с изображением церкви Иоанна Предтечи в Дьякове, что рядом с Коломенским.

— Так это же большая ценность, я не смогу вам сполна за нее заплатить, — сказал Петр Дмитриевич.

— Что вы, никакой платы и не надо. Возьмите, лишь бы не пропала. Внук поступил в архитектурный техникум, а там учат, что церкви, как памятники архитектуры, никакой цены не имеют. Вот и боюсь, как бы внук не изорвал картину.

Так Петр Дмитриевич стал обладателем редкостного произведения искусства. За картину “Церковь Иоанна Предтечи в Дьякове” ее автор Константин Маковский получил золотую медаль играничную командировку. В 1930-е годы, когда во всеуслышанье объявили, что можно, оказывается, жить без святынь, цена на эту картину упала в глазах несведущей молодежи до нуля. Теперь этой картине цены нет. Петр Дмитриевич сохранил ее и спустя годы передал тому, кому она принадлежит, — народу.

Некоторая часть экспонатов, которые были отобраны Барановским по злополучным телефонограммам тех давних лет, находятся ныне в экспозиции музея “Коломенское”, но далеко не все. В подклети церкви Вознесения пока экспозиция не сделана. Вот там и покоится все то, что Петр Дмитриевич смог вывезти из реконструируемого центра Москвы в село Коломенское на музейном транспорте в одну лошадиную силу.

Ждет своего часа и экспозиция икон, собранных П. Д. Барановским за долгие годы экспедиций по всей России. Он собирал только те иконы, на которых есть изображение памятников архитектуры. Среди редких экспонатов Петр Дмитриевич особо ценил две иконы: одну XV века, а другую XVII века, — обе с изображением Зосимы и Савватия, держащих в руках Соловецкий монастырь. На одной иконе монастырь еще деревянный, а на другой — каменный, во всей красе и величии, каким он дошел до начала нашего века. Эти иконы Петр Дмитриевич привез в 1923 году, когда участвовал в экспедиции Наркомпроса по передаче зданий Соловецкого монастыря новым хозяевам.

П. Д. Барановский был одним из инициаторов создания в Андрониковом монастыре Музея имени Андрея Рублева. В середине 1940-х годов об этом трудно было даже мечтать, так как все строения монастыря были заняты под коммунальные квартиры. И все же Петр Дмитриевич со своими единомышленниками, первым из которых следует назвать Давида Ильича Арсенишвили, добились своего. В 1947 году постановлением Совета Министров СССР территория бывшего Спасо-Андроникова монастыря была объявлена музеем-заповедником. Это была большая победа, свидетельствующая о росте национального самосознания народа.

Андрей Рублев умер во время московского морового поветрия. Смерть тогда нещадно косила всех. Даже для многих бояр и князей некому было надгробную плиту сделать. Но неужели потом, когда утихла моровая стихия, Андрей Рублев остался без могильной плиты и эпитафии? Известно, что его неразлучный друг Даниил Черный умер позже. “Прежде убо преставился Андрей, — читаем мы в “Отвещании любозазорным” Иосифа Волоцкого, — потом

же разболелся и спостник его Даниил, и в конечном здохновении сый, видя своего спостника Андрея во мнозе славе с радостью призывающая его в вечное оно и бесконечное блаженство”. Даже допустить нельзя, чтобы Даниил Черный не распорядился относительно надгробной плиты другу.

Петр Дмитриевич и Мария Юрьевна Барановские искали в архивах возможные упоминания об Андрее Рублеве. Было установлено, что еще в XVIII веке в Андроником монастыре сохранялась надгробия плита над могилой Андрея Рублева. Вместе со своим другом Даниилом Черным он был погребен под старой соборной колокольней, не дошедшей до нашего времени. Не может быть, чтобы надгробная плита с могилы Андрея Рублева пропала. Петр Дмитриевич искал ее. Нетрудно понять, сколько материалов по этому вопросу Барановский перелопатил и каким он был специалистом по эпиграфике.

— И вот однажды, — рассказывал мне Петр Дмитриевич, — к концу дня, когда рядом со Спасским собором рабочие закончили прокладывать траншею, я увидел вывороченную ими могильную плиту.

Плита показалась Барановскому подозрительной. Эпитафия на плите была во многих местах сколота. Петр Дмитриевич попробовал ее прочесть, но это не удалось, — наступила темнота.

Барановский углем натер плиту и передал надпись на большой лист бумаги. Придя домой, Петр Дмитриевич приступил к расшифровке эпитафии и просидел за этим занятием до утра. Сбитые буквы не позволили прочесть весь текст. Однако не вызвало сомнения, что это была надгробная плита старца, “рекомого Рублев”. Закончив работу, Петр Дмитриевич, окрыленный находкой, поехал в Андроников монастырь. Когда он приехал, то плиты уже не нашел.

— Где плита? — спросил он у рабочих.

— Какая плита?

— Та, которая лежала вчера вечером здесь!

— Видите, какая слякоть! — сказали рабочие. — Что мы, грязь должны месить? Мы вашу плиту на щебенку пустили и дорожку, по которой вы шли к собору, посыпали.

11 февраля 1948 года П. Д. Барановский сделал доклад в Институте истории искусств АН СССР, в котором изложил свои изыскания. По Барановскому выходило, что Андрей Рублев умер 29 января (“на память Игнатия Богоносца”) 1430 года.

Торжественное открытие Музея имени Андрея Рублева состоялось в 1960 году. Во всем мире тогда праздновалось 600-летие со дня рождения великого художника Древней Руси, который в своем творчестве отразил черты русского национального характера и оказал огромное влияние на всю духовную культуру народа. Среди тех, кто при открытии музея скромно стоял в стороне от большого начальства, был и Петр Дмитриевич, без которого, пожалуй, и музея-то этого не было бы.

П. Д. Барановский был не просто реставратором, а широко образованным историком культуры. Академик И. Э. Грабарь говорил, что такого архитектора-эрудита нет и во всей Европе. Петр Дмитриевич был последователем всемирно известного ученого Н. П. Кондакова. С гордостью за своего учителя он говорил: “А знаете, что один из крупнейших мировых семинаров византинистов называется Кондаковианум!” К сожалению, сам Петр Дмитриевич, хотя и получал персональные приглашения, ни на один из этих семинаров так и не смог выехать. Ездили другие, кому наверняка и не обязательно было.

Научные интересы П. Д. Барановского были обширные, но более всего его интересовало время сложения русской школы архитектуры, когда она освободилась от византийского влияния. Это как раз совпадает со временем создания “Слова о полку Игореве”. Совпадение не случайное. То было время одного из вершинных взлетов творческого гения нашего народа, прерванное нашествием кочевников. “Потому, — говорил Барановский, — каждый из оставшихся в живых памятников русской архитектуры домонгольского периода, будь то Покров-на-Нерли или Дмитровский собор во Владимире, — это поэмы, равные “Слову”, но только сложенные в камне”.

Любой знающий искусствовед подтвердит, что восстановление П. Д. Барановским черниговской церкви Параскевы Пятницы является признанным во всем мире эталоном реставрации.

В период Великой Отечественной войны фашисты уничтожили многие памятники культуры. Секретным приказом Рейха предписывалось оставить нас

без исторического наследия. “Рабы не имеют своей истории”, – говорилось в фашистском приказе.

П. Д. Барановский, будучи экспертом Чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских злодеяний на временно оккупированной территории, вошел в Чернигов с войсками, освободившими город. На месте церкви Параскевы Пятницы он увидел руины. До войны считалось, что это сооружение в стиле украинского барокко построено в XVII веке. Каково же было удивление Петра Дмитриевича, когда он обнаружил, что церковь Параскевы Пятницы в своей основе древнее здание, сложенное из плоского кирпича-плинфы, употреблявшегося в домонгольскую эпоху. Тогда и возникло у реставратора предположение, что памятник этот – современник “Слова о полку Игореве”. Петр Дмитриевич не ошибся в своей догадке. Чтобы доказать это и восстановить памятник в его первоизданном виде, понадобилось несколько лет напряженного труда. Реставрация началась, когда еще шла война. Люди в Чернигове жили в землянках. Не хватало кирпича, чтобы сложить печи. И в то же время на виду у всего города из руин поднимался памятник архитектуры. Петр Дмитриевич рассказывал, как однажды разъяренная толпа черниговских женщин привела к нему человека, который наворовал плинфы и сложил себе печку в баньке. Если бы наше самосознание было как у тех женщин военной поры, тогда не мучил бы нас стыд за ничем не оправданный снос в 30-х годах Сухаревой башни, Страстного и Чудова монастырей, старинных московских особняков, связанных с памятью Пушкина и Лермонтова.

Имена доморощенных Геростратов у нас, к сожалению, не предаются огласке, но общественность их помнит и давно занесла в позорный поминальный список. Такую “московскую летопись” с конца 1920-х годов вел П. Д. Барановский. В его архиве хранился пожелтевший от времени журнал “Огонек” за 1930 год. На обложке новогоднего номера журнала главный редактор Михаил Кольцов, рьяно борющийся за снос древних памятников Москвы, поместил фотографию руин взорванного шедевра древнерусской архитектуры – собора Симонова монастыря. Характерна и подпись в духе времени. Дескать, на месте храма мракобесия построим дворец науки и культуры. Только почему именно “на месте храма”, а не рядом с ним, чтобы старое и новое дополняли друг друга, создавая единый ансамбль? Благо условия для этого были прекрасные. Вокруг Симонова монастыря простиралась обширная, ничем не застроенная пустыря.

– Гениальные примеры сочетания старого и нового показал в своем творчестве архитектор А. В. Щусев, – говорил Барановский. – Он был достоин памятника при жизни и как архитектор, и как гражданин Отечества. Когда Щусеву предложили строить Дворец культуры автозавода имени Лихачева в Москве и поставили условие, чтобы здание было возведено непременно на месте тогда еще только предназначенного к сносу собора Симонова монастыря, то архитектор заявил решительный протест.

Но нашлись люди, которые согласились строить. Не смутило их и то, что у стен собора располагался старинный некрополь, где покоились многие славные сыны Отечества. Выход был найден без особых трудов. Произвели эксгумацию и перенос некоторых захоронений, а остальной некрополь был уничтожен. Могильные плиты пошли под фундамент Дворца культуры. Осталось только назвать авторов. Это были братья Веснины. Справку о них вы можете прочитать в Большой советской энциклопедии. Следует добавить, что братья Веснины в определенном смысле предвосхитили известного французского архитектора Корбюзье, у которого не дрогнула рука, когда он писал, “что в Москве все нужно переделать, предварительно все разрушив”. Это впрямую соотносилось с планами Л. М. Кагановича. “Когда ходишь по московским переулкам, – писал этот градоначальник, – то получается впечатление, что эти улочки прокладывал пьяный строитель... Мы должны знать, где и как строить, проложив новые улицы в правильном сочетании, выправлять кривоколенные и просто кривые улицы и переулки”. И Каганович навывправлял... Разве мог Барановский забыть об этих тяжких годах? Потому своим ученикам, молодежи он не уставал повторять: “За памятники Отечества надо стоять насмерть, ибо без прошлого нет будущего!”

П. Д. Барановский всегда будет высоким примером гражданственности и патриотизма. За свою жизнь он разработал проекты и восстановил более ста памятников национальной архитектуры. Да как восстановил! “Каждая рестав-

рация Барановского, – писал И. Э. Грабарь, – это защита докторской диссертации”. Петр Дмитриевич был одним из основоположников советской реставрационной науки. Им разработана вся реставрационная методика, ее теория и практика, вытекающие из открытых им законов древнерусского строительства. За 70 лет работы в библиотеках и архивах он собрал уникальный материал к “Словарю древнерусских зодчих” – более 1700 имен. Этот труд по плечу целому научно-исследовательскому институту. Но напрасно искать имя Петра Дмитриевича Барановского в БСЭ или в Энциклопедическом словаре. Для него места там не хватило. И как тут не вспомнить мудрость древних: “Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем”. Однако энциклопедии и словари – дело поправимое. Для этого нужно время. Оно всех и все по местам расставит. “Ни хитру, ни горазду... суда... не минути!” – как сказано в “Слове”. Не надо забывать, что для многих нынешних авторов энциклопедий и словарей П. Д. Барановский всю жизнь был неудобным оппонентом – говорил правду в глаза. Кому угодно мог сказать. Говорил и в 1940-е, и в 1960-е, и в 1980-е годы. Когда в строгие 1930-е повально начали сносить памятники и замахнулись даже на Василия Блаженного, Петр Дмитриевич не побоялся решительно выступить против этого. У него был на высоких нотах разговор с Л. М. Кагановичем. Тот не прислушался к голосу реставратора. Тогда П. Д. Барановский отбил резкую телеграмму на самый “верх” – Сталину. Василия Блаженного удалось спасти, но строптивому реставратору это стоило нескольких лет жизни вдали от семьи. Мария Юрьевна – жена Барановского – рассказывала: “Петр Дмитриевич одно только и успел у меня спросить на свидании перед отправкой: “Снесли?” Я плачу, а сама головой ему киваю: “Цельй!”

В свете всего происходящего ныне особенно отчетливо видно, что многим из нас не хватает бойцовских качеств П. Д. Барановского. Он мог, когда этого требовали интересы охраны памятников, не только остаться в меньшинстве, но и не согласиться со всеми. Это не упрямство, а высшей пробы принципиальность гражданина Отечества. В развороченном фашистами Чернигове от пришел на бюро горкома партии и стал говорить, что один из цехов кирпичного завода надо приспособить для изготовления плинфы. Можете себе представить, какотреагировали на заявление реставратора члены бюро горкома! Вспоминая тот нелегкий день, Петр Дмитриевич улыбнулся в свои жесткие усы щеточкой:

– Все-таки я заставил их выслушать меня.

– Ну и что решило бюро горкома партии? – спросил я.

– В конечном итоге единственно правильное решение было принято, – ответил Барановский и пояснил: – Я добился приема у секретаря ЦК КП Украины и убедил его, что пролетариат нам никогда не простит, если мы не сохраним столпы нашей культуры.

П. Д. Барановский – личность легендарная. Он стоит у истоков создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Его перу принадлежит первый проект устава Общества, когда об Учредительном съезде обществу только еще мечтала. Активная гражданская позиция Барановского ярко проявилась при создании первого в стране молодежного реставрационного клуба “Родина”. Собрав московских комсомольцев – школьников, студентов, рабочих, – он обучил их и на общественных началах приступил к восстановлению выдающегося памятника древнего зодчества – Крутицкого подворья. В 75 лет во время работы на Крутицах он упал с лесов и сломал ребро. Через месяц его снова видели на лесах. Человек он был неумный, принципиальности – гранитной. Недаром ведь “Петр” по-гречески – камень. Друзья называли его Аввакумом XX века. Таким он оставался до самых последних своих дней. Помню, мы разбирали архив, который Петр Дмитриевич безвозмездно передавал в Государственный научно-исследовательский музей имени А. В. Шусева. На фотографии я увидел человека, который смотрелся маленькой точкой на куполе церкви Вознесения в Коломенском.

– Кто этот верхолаз и что он там делает? – спросил я.

– Как кто? Я, чиню крышу, – ответил Барановский.

– Как вы туда залезли?

– Вылез в окошко, что в основании шатра, а потом по цепи до купола.

– И не побоялись?

– А что тут такого? У меня нет страха высоты. Я и сейчас бы туда залез, – сказал Петр Дмитриевич.

И залез бы! Сомневаться не приходится. На таких двужильных мужиках у нас на Руси испокон веку все и держится.

Полистав наши газеты и журналы, обязательно найдем там тревожные сигналы о неблагополучии с охраной памятников Отечества. Только за последнюю треть века список утраченных памятников вместе с именами должностных лиц, повинных в этом, если все опубликовать, составит книгу толще, чем учебник “Родная речь”. Обрывается цепь преемственности поколений. Это наносит непоправимый ущерб воспитанию молодежи. Прав Леонид Леонов, когда говорит в своих “Раздумьях у старого камня”: “Жизненно необходимо, чтобы народ понимал свою историческую преемственность в потоке чередующихся времен, — из чувства этого и вызревает главный гормон общественного бытия, вера в свое национальное бессмертие”.

Вопрос национального самосознания народа приобретает в нынешних условиях первенствующее значение, как это было во времена всех крутых поворотов в жизни нашей страны.

Мы выросли, учились и воспитывались в советское время. Положа руку на сердце можем сказать, что историзм мышления приходит лишь с возрастом, к седым вискам. Между тем жизнь убедительно доказывает, что успехи в экономическом развитии страны во многом зависят от того, каков уровень национального самосознания народа.

Как бороться за сохранение наших национальных святынь? Жалобами и письмами отдельных любителей старины дела не поправишь. Можно спасти тот или иной памятник, но кардинально проблему не решишь. Так будет продолжаться до тех пор, пока за решение дела мы не возьмемся всем миром. Примером для нас могут служить труды и деяния Петра Дмитриевича Барановского.

30 января 1985 г.

Л. М. Леонов в беседах со мной почему-то никогда не касается Чехова. Между тем чеховский доктор Астров почти за 60 лет до леоновского Вихрова сказал:

“Гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц; мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. Лесов становится все меньше и меньше... И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее”.

А ведь ларчик-то просто открывается. Студент Вихров — он ведь вырос на пьесах Чехова. Впрочем, как и сам Л. М. Леонов.

Читая книгу К. И. Чуковского “О Чехове”, я понял, почему все одесситы так восхищаются Чеховым. Дело в том, что одесский юмор так и прет из Катаева, Ильфа, Петрова, Бабеля, Чуковского. Кажется, они родились с ним, он у них в крови. Но их юмор не идет дальше зубоскальства, а чеховский юмор круто замешан на хохлячьем народном юморе (Чехов недаром называет себя “ленивым хохлом”); кстати, он мог бы отметить свою связь с хохлячьим “гумором”. Юмор Чехова очень близок к юмору южанина и хохла Гоголя, но совершенно ничего общего не имеет с одесским зубоскальством, где нет морально-этической подосновы, боли, а потому и глубокого философского смысла.

Александр Блок записал в своем дневнике о Чуковском: “... Настоящее хамство... Лезет своими одесскими глупыми лапами в нашу умную петербургскую боль. Ничего ему не дорого, он только криво констатирует” (Собр. соч.: В 6 т. Л., 1980—1982. Т. 5. С. 127). Добавим, что в начале века Чуковский, будучи корреспондентом одесской газеты в Лондоне, пробавлялся переводами сионистской литературы.

Апрель 1986 г.

Вчера позвонил Л. М. Леонов и пригласил завтра погулять:

— Сегодня я не могу. Приходите завтра, хорошо? Я вам позвоню.

Сегодня в 13.30 Л. М. позвонил и пригласил к себе.

— Приходите, ну, скажем, к половине пятого.

Я пришел в 16.40. Леонов был в сером костюме, бодр и подтянут. Пошли гулять. Заговорили о только что умершем М. Б. Храпченко, некролог о смерти которого в числе других подписал и Леонов.

— Он умер в грозу, — сказал Л. М. — Болел, лежал в больнице с инфарктом. Ударил гром, блеснула молния. У него оторвался тромб... и конец.

— Какие отношения у вас были с ним? — спросил я.

– В канун Нового, 1942 года я жил в Чистополе. Жил трудно. Работал тяжело. Вдруг получаю телеграмму: “Сообщите, над чем работаете? Нужна пьеса. Храпченко”. Так появилось “Нашествие”. Позже, когда Храпченко сняли с должности председателя Комитета по делам искусств при СМ СССР за оперу В. Мурадели “Великая дружба”, я бывал у него дома. Он жил в тесной квартире, заставленной книгами. В ту пору ему приходилось трудно. Сталин заставил его выплачивать деньги за оперу “Великая дружба” как за разбазаривание государственных средств. Однажды А. А. Жданов собрал у себя литераторов для проработки Храпченко. Выступил один из критиков. (Его прозвали позже “Гладиатором” за то, что он гладил женщин во время оргий у зав. отделом ЦК Александра.) Критик громил Храпченко. Потом выступил я и рассказал, как родилось “Нашествие”. Жданов выслушал и сказал: “Совещание закончено”. Храпченко был хороший и человек, и специалист, – заключил Леонов.

По Столовому и Трубниковскому переулкам мы с Л. М. прошли к кинотеатру “Октябрь”. Леонов остановился.

– Сердце стало барахлить, – сказал он. Мы повернули, пошли домой. Леонов рассказывал о трудных временах, когда его прорабатывали буквально после каждой книги.

– Особенно усердствовал Авербах. Он был племянником Я. М. Свердлова, зятем В. Д. Бонч-Бруевича и шурином Ягоды [Иегуды]. Власть у него в РАППе была большая. Авербах и его подручные обвиняли меня в том, что я добиваюсь гегемонии литературы над установками партии. Это было серьезное политическое обвинение. Однажды у Горького собрались на обед Сталин, несколько членов Политбюро, писатели. Присутствовал и Ягода. Обед был долгим. Когда правительство уехало, за длинным столом остались, с одной стороны, Горький и Шолохов, с другой – я и секретарь Горького. Рядом сидел вдрызг пьяный Ягода. Вдруг Ягода поднял голову и говорит: “Леонов, зачем вам гегемония?” Я ему ответил: “Какая там гегемония. Просто я не люблю, когда на голову серут так, что в рот течет, а бумаги под рукой нету”. Ягода рассмехался. На том “гегемония” и кончилась.

– А Горький ваш диалог слышал? – спросил я.

– Нет. Он был увлечен разговором с Шолоховым. Кстати, у Яр-Кравченко есть картина “В гостях у Горького”, где изображены большинство из тех, о ком речь шла выше.

Дома мы сидели у Леонова в кабинете, разговаривали. Я подошел к фотографии Татьяны Михайловны Леоновой.

– Леонид Максимович, мне очень нравится эта ваша фотография. Когда вы фотографировали Татьяну Михайловну?

– Году в двадцать седьмом. – Леонов посмотрел на фотографию. – Хорошая была баба, – с трогательной теплотой сказал он. – Без претензий. Терпеливая. За всю жизнь я не помню, чтобы она жаловалась. Помощница! Она никогда не давала мне читать рецензии на мои книги. “Зачем?” – говорила. Когда уже совсем больная была и все знала, пришла ко мне в кабинет, легла вот на эту кровать. Внук Николка сел у нее в ногах. Она ему и говорит: “Ах как я подвела Леонида Максимовича!”

Помолчали. Я еще раз посмотрел на фотографию.

– А где вы фотографировали Татьяну Михайловну?

– У себя в комнате. Видите, в качестве фона – простыня.

Заговорили о “текущем моменте”.

Разговор получился долгим и обстоятельным. “Выступали” оба по очереди. В конечном итоге сошлись на том, что наряду с воспроизводством средств производства не меньшую, а, может быть, большую роль играет в “текущем моменте” духовное воспроизводство. При этом недостатки в экономике очевидны. Об этом говорилось на XXVII съезде КПСС. Однако недочеты в духовном воспроизводстве не идут ни в какое сравнение с недостатками в экономике, но должной оценки это явление **до сих пор не получило**. Положение усугубляется тем, что литература и искусство в “текущий момент” не выполняют своей роли. Значение литературы и искусства в нравственном, духовном воспитании народа упало ниже довоенной отметки, и пока не видно перспектив к ее качественно новому подъему. Камень преткновения в том, что уровень национального самосознания народа не только не поднимается, но, наоборот, катастрофически падает. Вопрос о воспитании историей приобретает главенствующее значение.

— Мне недавно, — сказал Леонов, — позвонили из “Известий” и попросили написать статью об изучении родной истории. Я отказался, сказал, что академик Б. А. Рыбаков, как ученый, сделает это лучше меня. Мое дело — эмоциональная сторона вопроса. Альманах “Современная драматургия” в № 1 за 1986 год опубликовал мои “Раздумья у старого камня”. Там я с достаточной полнотой высказался.

Я спросил Леонова, не было ли ему приглашения на беседу в ЦК КПСС?

— Нет, никто не приглашал, — сказал Леонов.

— Жаль, — сказал я. — Вреда бы не было, если бы руководители государства собрали толковых русских людей на беседу и послушали мудрость народную.

— Это исключено, — категорически сказал Леонов. — Потому что непременно встанет вопрос о евреях. Собирать ареопаг не надо. А вот индивидуальные беседы не повредили бы. Мне кажется, — продолжал он, — наверху понимают, что Россия, русский народ находится сейчас в наиболее трудном положении. Если не принять самых решительных мер, то через пятьдесят лет, когда китайцев будет более полутора миллиардов человек, вопрос о Сибири и Дальнем Востоке будет решен явно не в нашу пользу. На этот счет у Дэн Сяопина, которого я боюсь больше Рейгана, есть не только прогнозы, но и приняты соответствующие решения. Есть смысл задуматься и над прогнозами Хомейни (Иран), который сказал, что к началу нового столетия СССР будет мусульманской страной. Положение очень серьезное, — сказал Леонов.

— У вас в “Раздумьях у старого камня” есть выражение, что сейчас государственным деятелям надо иметь “радар” минимум на 25 лет вперед. Думаю, — сказал я, — что иметь такой “радар” на пять пятилеток вперед — явно недостаточно.

— Хорошо бы, — ответил Леонов, — если бы минимум был обеспечен. А то все больше приходится слушать о расчетах на 15 лет вперед. Что суждено, того не миновать, — невесело заключил Леонов. — Мне недавно рассказывали, — продолжал он, — как в одной клинике лечили молодого человека 25 лет от роду. Ему говорят: “У вас все в порядке, вы здоровый человек”. А он отвечает: “Я устал”. Это серьезный симптом, — сказал Леонов. — 68 лет русский народ живет в постоянном напряжении всех своих сил. Есть опасность, что усталость русских людей стала переходить в гены. Это чревато серьезными последствиями для нас.

— Сейчас выдвинут лозунг социалистической предприимчивости, — сказал я. — Сталинский лозунг о русском революционном размахе и американской деловитости отжил свое. Японская деловитость дает три очка вперед американской, а о русском революционном размахе вообще позабыли.

— Если бы сейчас разрешили, как при нэпе, заводить свое дело, — сказал Леонов, — то настоящих предпринимателей, готовых работать за 5 процентов выгоды, просто бы не нашлось. Среди русских людей, во всяком случае, — уточнил он. — Появились бы спекулянты и выжиги, готовые урвать 10 процентов выгоды, готовые играть ва-банк — либо пан, либо пропал, а таких, как раньше были работники, теперь уже не сыщешь. В русском народе произошли качественные изменения. В течение десятилетий инициатива каралась самым жестоким образом, и теперь ее развивать очень трудно. Китайцы в этом отношении сумели самосохраниться. У нас сейчас ни хлеба, ни мяса, а они нам рис предлагают...

— “Марксизм не догма, а руководство к действию”, — учил Ленин, поэтому нужно разворачиваться, сообразуясь с жизнью, а не с буквой.

— Легко сказать... В трудное время живем мы, — подытожил Леонов. — В сложное и трудное...

Мы перешли в столовую. Сели ужинать. Смотрели спектакль “Три сестры” Чехова в исполнении артистов МХАТа. Перед каждым актом Олег Ефремов, делая глубокомысленное лицо, говорил заученный текст. Леонову не понравились ни декорации, ни навязчивый прием в III–IV актах, когда все побежали на пожар (удары в рельсу) и, когда полк уходил, звуки трубы.

— У Чехова столько мыслей в диалогах, а здесь по нервам бьют то звуки ударов в рельсу, то звук полкового горниста. Диалогов не слышно. Вся острота восприятия сбивается резкими, без конца повторающимися звуками. Вам трудно представить себе, какое влияние оказывал МХАТ при Станиславском и Немировиче на умонастроение Москвы, России, — говорил, обращаясь ко мне,

Леонов. — А какие артисты были, как работали над собой! После Станиславского разве можно посмотреть на этого сутулого, с вогнутой грудью Вершинина, — говорил он, указывая на помятого, зачуханного артиста на экране. — Современный театр настолько деградировал, что трудно даже себе представить. “Сталевары”, “Премия” — разве это пьесы?!

— В ЦК КПСС недавно было совещание по театру. Были Боровик, Шатов... А вас не приглашали? — спросил я Леонова.

— Нет, не приглашали. Приглашали тех, у кого идут пьесы.

Помолчали.

— Самые лучшие постановки моих пьес, — продолжал Леонов, — были осуществлены Станиславским (“Унтиловск”), Немировичем (“Половчанские сады”) и Судаковым в Малом театре (“Волк” и “Нашествие”). О Станиславском и Немировиче говорить не буду, скажу о Судакове. Тонкий, умный был режиссер. В “Нашествии” Соловьев играл Федора Таланова. Хорошо играл. И Пашенная — хорошо...

Только мы кончили тему “Нашествия”, как по телевидению стали передавать программу на 24 апреля 1986 года. Я вслух читаю: “Драматургия Великой Отечественной войны. Леонид Леонов. “Нашествие”.

— Видите, вас не забывают.

Я поздравил Леонида Максимовича и рассказал ему, что с кинофильмов “Пир в Жирмунке”, “Трое в воронке” и “Нашествия”, увиденного в 1940-х годах, началось мое знакомство с ним. Отдельные куски текста в фильме “Нашествие” я помню до сих пор. Особенно мне нравился Фаюнин в исполнении Ванина.

Оказалось, что Леонова игра Ванина не устраивала. Он играл врага, а надо было показать человека.

Время было позднее. Но мне хотелось задать еще пару вопросов.

— Леонид Максимович, вы с Блоком встречались?

— Не успел.

— А с Владимиром Набоковым?

— Нет, не встречался. Читал его роман “Лолита”. Не понравился. Что вы собираетесь делать в ближайшее время? Наверное, куда-нибудь поедете? — спросил Леонид Максимович.

— Поеду с другом-художником в Крым и на Кубань. Надо на лето заработать. И мир посмотреть.

— Завидую вам, — сказал на прощание Леонид Максимович. — Не забывайте, звоните.

28 сентября 1986 г.

(С 18.40 до 21.45 у Л. М. Леонова)

Позвонил Л. М., пригласил прогуляться и потом посмотреть американский фильм о русских евреях в Америке — “Russian is here”.

Телепередачу смотрели молча, вслушиваясь в каждое слово людей, добровольно покинувших Родину. Лишь изредка Л. М. вставлял свое весомое слово:

— Уехали, а теперь каются, просят разрешения на въезд в Россию. Разве можно им верить? Извечный вопрос — Россия и евреи. Как быстро все ими забывается. Во время Нюрнбергского процесса мне как-то показали три фотографии, изъятые у фашистов. На одной — фашистская лаборатория и в ней гора человеческих черепов, как на картине Верещагина “Апофеоз войны”. На второй — бегущая голая молодая женщина и охотники с ружьями, стреляющие, как по мишени “бегущий олень”. На третьей — три молодые еврейки, раздевшиеся перед расстрелом, и 80-летняя старуха-еврейка, снимающая трусики. Гнев и возмущение! Я пришел в зал суда в ярости, — продолжал Леонов. — В нескольких метрах от меня, за загородкой, сидел Геринг и о чем-то переговаривался с Гессом. Видно, во мне было столько ненависти, что Гесс почувствовал и посмотрел на меня. Я не вытерпел и, глядя ему в глаза, провел рукой по горлу. Гесс опустил голову и отвернулся. — Леонов, помолчал, продолжил: — Теперь потомки тех евреев, которых Россия защитила, уезжают в Америку и хаот наше Отечество. Борцы за свободу... Это в России-то им плохо жилось!..

Фильм закончился. Мы вспомнили пророчество Достоевского в его “Еврейском вопросе”, и на этом тема была исчерпана.

27 ноября 1986 г.

Мы пошли гулять. Когда переходили улицу Герцена, мимо, едва не сбив нас, пролетела машина. Леонов погрозил вслед шоферу:

– Ты что, милый, не знаешь – лауреата Ленинской премии давить нельзя. – И добавил: – На этом перекрестке я вчера чуть под машину не попал.

– Вы уж как-нибудь поосторожней. Туда еще успеете.

– Буду стараться. Пойдемте по бывшей Спиридоновке.

Мы прошли мимо дома Рябушинского, где жил Горький, мимо дома №6, где жил А. Н. Толстой, а в 1904 году – А. А. Блок с женой и где давно уже должен быть музей Блока, а его все нет.

– Вы прочитали ответы Виктора Астафьева Эйдельману? – спросил Леонов.

– Нет, они в списках ходят, ко мне пока не пришли, но содержание мне известно. Астафьев заступился за Россию, за русскую культуру, сказал, что мы и без евреев разберемся в творчестве Пушкина, Достоевского, Толстого. И действительно, почему “достоеведы” почти сплошь одни евреи? Почему Фридлиндер избран пожизненным председателем международного общества по изучению творчества Достоевского? Так что я разделяю позицию Астафьева.

– Мне сегодня был звонок, хотели и меня втянуть в полемику с Астафьевым.

– Ни в коем случае не делайте этого. У вас для этого времени нет. Лучше книгу заканчивайте, ей-Богу...

– Я тоже так думаю, потому и отказался.

Мы прошли мимо опустевшей мастерской бывшего президента АХ СССР Н. В. Томского.

– Трагической судьбы человек, – сказал я. – Подсунули ему несовершеннолетнюю натурщицу-еврейку. Она забеременела. Он хотел было выкрутиться, да не тут-то было. Попался на крючок. Взрослый сын от первого брака непонятно почему удавился. Томский стал пить, а они правили Академией художеств.

– Какие они атаки на меня делали! – сказал Леонов. – Я выстоял, а вот Твардовский не смог. Своих дочерей за евреев выдал. У него слабое место было – лесья любил. Они это нащупали, а когда он все понял, то было поздно. Алексей Сурков рассказывал мне, со слов Соколова-Микитова, которому Твардовский жаловался: “У меня внуки...” – и Леонов, приставив палец к лицу, показал нос крючком. Помню, – продолжал Л. М., – было чествование К. Федина. Я сидел в президиуме слева от Федина, рядом со мной Эм. Казакевич и Твардовский. Они ведь были родственники – дочь Твардовского была замужем за сыном Казакевича. Вдруг слышу, Казакевич что-то рассказывает Твардовскому и через слово отборный мат сыплет. Я после этого долго не мог понять. Ведь он же интеллигент, зачем ему надо было так материться при всех? Потом понял: Казакевич этим самым хотел показать Твардовскому, что и он тоже простой мужик. Представляю, как все это тяжело было осознавать Твардовскому. Трагическая фигура. И Фадеев такой же: сын от Алигер, жена – Ангелина Иосифовна Степанова... Фадеев был умный человек. Он понимал, что талант у него вот такой, – и Леонов показал половину большого пальца. – В этом нет ничего порочащего человека. А Фадееву хотелось быть первым. Он руководить Союзом писателей стал для того, чтобы можно было сказать, что я, мол, пожертвовал собой ради общего дела. Дескать, нет времени писать, так как всецело отдал себя общественной работе. Все это игра в прятки. А жизнь наказывает за это. Потому и пить стал. Совесть была нечиста. Он мне сам рассказывал, сколько ему пришлось подписывать бумаг на арест писателей.

– Сотню, – сказал я.

– Нет, больше, – продолжал Леонов. – А ведь можно было избежать этого. В ЦК знали, что он пьет, я вам уже говорил. Вот и пришел бы к ним и сказал: “Освободите меня. Вы знаете, что я пью. Вчера допилась до того, что зеленых чертей видел. Освободите...” И освободили бы. Помню, – продолжал Леонов, – идет заседание комиссии по Сталинским премиям. Фадеева нет. Вдруг приходит Сталин. Все растерялись. “А где товарищ Фадеев?” – спрашивает Сталин. После заминки кто-то ответил: “Фадеев болеет”. Сталин подошел к столу, взял из стакана пачку остро заточенных карандашей, с яростью грохнул ими об стол и сказал: “Из-за таких заточенцев Рим погиб”. Повернулся и вышел.

– Леонид Максимович, а ведь вы тоже могли быть председателем СП СССР, и тогда бы вам пришлось подписывать списки на арест писателей.

– Нет, со мной бы этого никогда не произошло, – решительно сказал Леонов.

Я не стал настаивать на расшифровке Леоновым его слов. Общий смысл их мне был и так ясен.

– На своем юбилее в Зале имени Чайковского (в бывшем театре Мейерхольда) Фадеев, помню, в самом конце подошел к микрофону, стоявшему у рампы, и сказал: “Товарищ Сталин, я вам даю слово, что еще напишу книгу, которая останется во времени”. Я был потрясен его заявлением. Зачем он это сделал? Пришел домой, рассказал жене, вдвоем думали, зачем он так сказал. Потом догадался. Этим заявлением он давал Сталину слово, что не будет пить и возьмется за работу. Фадеев был уверен, что к микрофону подключен Кремль и Сталин его слушает, поэтому и сделал такое заявление. Но разве можно делать такие заявления?! Разве я мог бы сказать, что напишу книгу, которая останется во времени? Никогда! Мог сказать, что буду стараться написать. Но – напишу!.. Ведь это такое дело – пишешь, пишешь, а потом прочтешь и видишь – такое говно, что стыдно перед самим собой.

Фадеев так и не сдержал свое слово. Недели две крепился, не пил, а потом еще хлеще запил.

Во время ужина дома мы смотрели телепередачу из Ленинградского оперного театра имени Кирова (Мариинского), посвященную главному дирижеру и художественному руководителю театра Юрию Темирканову, захватившему всю полноту власти в театре. Его хвалили скульптор-академик М. К. Аникушин и особенно – Г. А. Товстоногов, выступавший как присяжный поверенный. Простой раз, когда мы смотрели с Леоновым телепередачу, Товстоногов хвалил Спивакова, сейчас с тем же усердием – Темирканова.

– Неужели он сам-то не поймет, что надо аллилуйю петь хотя бы через такт. Тоже мне музыканты, – иронизировал Леонов.

Исполняли Чайковского, Сибелиуса и фрагмент оперы Андрея Петрова “Маяковский начинается”. Темирканов в своем комментарии к опере назвал Маяковского первым поэтом Революции.

– Как он его назвал? – не расслышал Леонов.

Я повторил слова Темирканова. Леонов что-то пробурчал про себя.

– Что вы сказали? – спросил я.

– У него есть хорошие стихи, – ответил Леонов и принес мне газету со статьей Марианны Фиала-Бурлюк – сестры Давида Бурлюка, рассказывающей о скандале в кафе, свидетелем которого она была в 1914 году. Маяковский читал стихи и, заканчивая их, с вызовом плюнул в зал. Марианна Фиала с восторгом вспоминала: “Что там было... В Маяковского полетели стаканы, бутылки...” Леонов дополнил: – Мне рассказывал свидетель этого скандала: к Маяковскому подошел господин и уточнил: “Вы плюнули всему залу?” – “Да”, – ответил с вызовом молодой поэт. “И значит, и мне?” – уточнил господин. “Да”, – ответил Маяковский. Тогда господин развернулся и со всей силы врезал по уху молодому нахалу.

– В общем, схлопотал Володька. С ним, видно, это не раз было.

– Да-а. Схлопотал... Нет, у него есть стихи хорошие. А окружение было не то. Одни они.